

Боль

Маргерит Дюрас



Annotation

Я обнаружила этот дневник в двух тетрадках, лежавших в голубом шкафу в Нофль-ле-Шато.

Я совершенно не помню, что писала его.

Знаю, что это писала я, узнаю свой почерк и подробности описанных событий, вижу место действия, свои поездки, вокзал д'Орсэ, но не вижу себя, пишущую дневник. Когда это было, в каком году, в какое время дня, в каком доме? Ничего не помню.

В одном я уверена: этот текст не был написан в те дни, когда я ждала Робера Л., это просто невозможно.

Как могла я написать эту вещь, которую и сейчас еще не умею определить и которая ужасает меня, когда я ее перечитываю. И как я могла на годы оставить этот текст в сельском доме, регулярно затопляемом в зимнее время?

Впервые я вспомнила о нем, когда журнал «Сорсьер» попросил меня дать что-нибудь из написанного в молодости.

«Боль» — одна из самых важных вещей моей жизни. Слово «литература» тут не подходит. Передо мной были страницы, аккуратно заполненные мелким, на редкость ровным и спокойным почерком. Страницы, полные невероятной сумятицы мыслей и чувств, к которым я не посмела прикоснуться и рядом с которыми я стыжусь литературы.

- Маргерит Дюрас

- ☐ Апрель
- ☐ Апрель
- ☐ 20 апреля
- ☐ Апрель
- ☐ Воскресенье, 22 апреля 1945
- ☐ Апрель, воскресенье
- ☐ Вторник, 24 апреля
- ☐ 25 апреля
- ☐ Четверг, 26 апреля
- ☐ Пятница, 27 апреля
- ☐ 27 апреля
- ☐ 28 апреля
- ☐ 28 апреля

Маргерит Дюрас

Боль

Рядом со мной, против камина — телефон. Направо — дверь в гостиную и в коридор. В глубине коридора — входная дверь. Он может вернуться прямо домой, он позвонит в дверь. «Кто там?» — «Это я». Он может также позвонить по телефону, сразу как прибудет в транзитный Центр: «Я вернулся, я в отеле „Лютеция“, надо еще оформить документы». Никаких предвестий не будет. Он позвонит по телефону и придет. Такие вещи вполне возможны. Оттуда все же возвращаются. В его деле нет ничего особенного. Никаких особых причин, чтобы он не вернулся, нет. Никаких оснований надеяться, что он вернется, нет. Он может вернуться. Он позвонит. «Кто там?» — «Это я». Сейчас много чего происходит. Они наконец перешли Рейн. Фронт у Авранша наконец прорвали. В конце концов немцы отступили. В конце концов я дожидая до конца войны. Я должна иметь в виду: если он вернется, в этом не будет ничего необычного.

Это нормально. Я должна быть осторожной: нельзя превращать это в событие исключительного порядка. Исключительное неожиданно. Надо быть разумной: я жду Робера Л., который должен вернуться.

Звонит телефон. «Алло, алло! У вас есть новости?» Я должна себе сказать, что телефон служит и для этого. Не бросать трубку, отвечать. Не кричать: оставьте меня в покое. «Никаких новостей». — "Совсем ничего?"

Никаких признаков?" — «Никаких». — "Вы знаете, что Бельзен освободили?"

Вчера днем..." — «Да, знаю». Молчание. Неужели я опять это спрошу? Да. Я спрашиваю: «Что вы об этом думаете? Я начинаю беспокоиться». Молчание. «Не надо отчаиваться. Держитесь, вы, к сожалению, не единственная, у меня есть знакомая — мать четверых детей...» — «Я знаю, извините меня, я должна выйти, до свидания». Кладу трубку. Не шевелюсь. Никаких лишних движений -это потерянная энергия, надо сберечь все силы для пытки.

Она сказала: «Вы знаете, что Бельзен освободили?» Я не знала. Еще один лагерь освобожден. Она сказала: «Вчера днем». Она не сказала, но я знаю -списки фамилий появятся завтра утром. Надо спуститься, купить газету, прочесть список. Нет. В висках у меня стучит все сильнее и сильнее. Нет, я не стану читать этот список.

Во-первых, система списков — я уже три недели изучаю их — никуда не годится. И потом, чем дальше, тем меньше будет в них

фамилий. Списки будут выходить до самого конца. И его имя никогда там не появится, если список буду читать я. Теперь надо подняться, пора. Встать, сделать три шага, подойти к окну. Медицинская школа на месте — как всегда. Прохожие тоже, они будут так же идти по улице в тот момент, когда я узнаю, что он никогда не вернется. Извещение о смерти. Теперь уже начали сообщать. Позвонят в дверь.

«Кто там?» — «Из мэрии». В висках продолжает стучать. Я должна прекратить этот стук. Его смерть во мне. Она бьется у меня в висках. Остановить это биение — остановить сердце — успокоить его — оно никогда само не успокоится, надо ему помочь. Остановить поток мыслей, которые распирают череп и вытекают из головы. Я надеваю пальто, спускаюсь. Консьержка на месте. «Добрый день, мадам Л.». Выглядит она как обычно. Улица тоже. На улице апрель.

Я сплю на ходу. Руки засунуты глубоко в карманы, ноги сами шагают вперед. Не подходить к газетным киоскам. Не подходить к транзитным центрам.

Союзники наступают на всех фронтах. Еще несколько дней назад это было так важно. Теперь уже не имеет никакого значения. Я больше не читаю коммюнике.

Бесполезное занятие, теперь они будут наступать до конца. Все тайное станет явным, на все, что скрывали нацисты, прольется свет. Апрель, это произойдет в апреле. Армии союзников хлынули в Германию. Берлин в огне. Красная Армия продолжает свое победоносное наступление на юге, Дрезден остался позади. На всех фронтах наступают. Германию загнали в ее прежние границы. Рейн давно перешли, это всем известно. Великий день войны — Ремаген. Это началось после него. Во рву, лицом к земле, подогнув ноги и раскинув руки, он умирает. Он умер. Среди скелетов Бухенвальда — его скелет. Во всей Европе стоит жара. По дороге мимо него идут наступающие армии союзников. Он умер три недели назад.

Да, так и есть, он умер. Я точно знаю. Я ускоряю шаг. Его рот приоткрыт. Вечер. Перед смертью он думал обо мне. Боль, какая боль, она душит меня, ей не хватает воздуха. Ей нужно больше места. На улицах слишком много народа, мне хотелось бы идти в одиночестве по широкой равнине. Перед самой смертью он, должно быть, произнес мое имя. Вдоль всех дорог Германии в таких же позах, как он, лежат люди. Тысячи, десятки тысяч — и он. Он, который сливается с тысячами других и вместе с тем для меня одной выделяется из этих тысяч, ни на кого не похожий, единственный. Все, что можно знать, когда ничего не знаешь, я знаю. Они начали эвакуировать их, но в последнюю минуту

убили. Война — общее понятие, и требования войны, и смерть — тоже.

Он умер, произнося мое имя. Какое еще имя мог бы он произнести? Я не имею ничего общего с теми, кто живет общими понятиями. Я ни с кем не имею ничего общего. Улица. В эту минуту в Париже люди смеются, особенно молодежь. У меня нет никого, кроме врагов. Уже вечер, надо возвращаться домой — ждать у телефона. Там, по ту сторону, тоже вечер. Тень накрывает ров, теперь его рот во тьме. Медленное красное солнце над Парижем. Шесть лет войны кончаются.

Великое событие века. Нацистская Германия раздавлена.

Он, во рву, — тоже. Все подходит к концу. Не могу остановиться, перестать ходить. Я тощая, высохшая и будто каменная. Рядом со рвом -парапет моста Искусств, Сена. Как раз справа от рва. Их разделяет тьма. Во всем мире нет ничего, что было бы мне ближе этого трупа во рву. Вечер совсем красный. Это конец света... Умереть так просто. Я могла бы жить. Мне это безразлично, мне безразлично, когда, в какой момент я умру. Я не соединюсь с ним после смерти, я лишь перестану ждать. Я предупрежу Д.: «Лучше мне умереть, на что я вам». Я схитрю — умру для него еще при жизни, и потом, когда наступит смерть, Д. почувствует облегчение. Такой вот подлый замысел.

Надо возвращаться. Д. ждет меня. «Ничего нового?» — «Ничего». Никто больше не спрашивает меня, как я живу, никто не здоровается. Мне говорят: «Ничего нового?» Я говорю: «Ничего». Сажусь на диван у телефона. Молчу. Д. встревожен. Когда он не смотрит на меня, у него озабоченный вид. Он уже неделю лжет мне. Я говорю Д.: «Скажите что-нибудь». Он уже не говорит мне, что я чокнутая, что не имею права всех мучить. Теперь он лишь говорит: «Нет никаких причин, чтобы он не вернулся, как вернулись другие». Он улыбается, он тоже исхудал, все лицо стягивается, когда он улыбается. Наверно, я бы не выдержала без Д. Он приходит каждый день, иногда два раза в день. Остается со мной. Д. зажигает лампу в гостиной, уже час как он здесь, теперь, должно быть, уже девять вечера, мы еще не пообедали.

Д. сидит далеко от меня. Я смотрю остановившимся взглядом в законную тьму. Д. смотрит на меня. Тогда и я смотрю на него. Он улыбается, но улыбка фальшивая. На прошлой неделе он еще подходил ко мне, брал за руку, говорил:

«Клянусь вам, Робер вернется». Теперь, я знаю, он спрашивает себя, не лучше ли перестать поддерживать во мне надежду. Иногда я говорю: «Простите меня».

Проходит час, и я говорю: «Как могло случиться, что нет

никаких вестей?» Он говорит: «Тысячи депортированных находятся в лагерях, до которых еще не дошли союзники. Что же вы хотите? Как они могут дать о себе знать?» Так все это и тянется, пока я не прошу Д. поклясться, что Робер вернется. Тогда Д. клянется, что Робер Л. вернется из концлагеря.

Я иду на кухню и ставлю варить картошку. Остаюсь на кухне. Прижимаюсь лбом к краю стола, закрываю глаза. Из комнаты, где Д., — ни звука, слышно лишь, как гудит газ. Можно подумать, что глубокая ночь. Внезапно истина обрушивается на меня: он умер пятнадцать дней назад, это факт. Уже пятнадцать ночей, пятнадцать дней он там, во рву, всеми покинутый. С босыми ступнями. Под дождем, под солнцем, в пыли, которая тянется за победоносными армиями. Руки раскинуты. Его руки, которые мне дороже жизни. Которые меня знают. Которые я знаю так, как никто другой. Я кричу. Медленные шаги в гостиной. Д. подходит ко мне. Я чувствую на плечах его нежные, сильные руки, они приподнимают мою голову, отрывают от стола. Я прижимаюсь к Д., я говорю:

«Это ужасно». — «Знаю», — говорит Д. — «Нет, вы не можете знать». — «Я знаю, — говорит Д., — но сделайте над собой усилие, человек может все». Я уже ничего не могу. Руки, обнимающие тебя, — это приносит облегчение. Иной раз покажется, что тебе стало лучше. Миг передышки. Мы садимся есть.

Сразу же подступает тошнота. Хлеб — тот самый, что не съел он кусок хлеба, который мог бы спасти его от смерти. Я хочу, чтобы Д. ушел. Моей пытке опять требуется свободное место. Д. уходит. Пол скрипит у меня под ногами. Я выключаю все лампы, возвращаюсь в свою комнату. Иду медленно, чтобы выиграть время, чтобы не разбередить все эти ужасы в моей голове. Надо быть осторожной, а то не засну. Когда я не сплю, на следующий день мне гораздо хуже. Каждый вечер я засыпаю рядом с ним в черном рву, рядом с ним, мертвым.

Я иду в Центр д'Орсэ. Мне стоило больших усилий пристроить туда Розыскную службу газеты «Либр», созданную мной в сентябре 1944 года. Мне возражали, что это неофициальная организация. В.С.Р.А. (Центральное бюро разведки и действия) уже обосновалось там и не желало никому уступать место.

Сперва я проникла туда тайком, с фальшивыми документами и пропусками. Мы смогли собрать и опубликовали в «Либр» многочисленные данные об эшелонах с депортированными, об их пересылке в другие лагеря. Там было немало сведений о конкретных людях. «Передайте семье такого-то, что их сын жив, я только вчера расстался с ним».

Меня и моих четырех товарищей выставили за дверь. Аргумент: «Все стремятся сюда, это невозможно. Сюда будут допущены только секретариаты службы по делам военнопленных». Я возражаю, что нашу газету читает семьдесят пять тысяч родственников депортированных и пленных. «Очень жаль, но правила запрещают какой бы то ни было неофициальной организации находиться здесь». Я отвечаю, что наша газета — особая, что только мы печатаем специальные выпуски со списками фамилий. «Это недостаточное основание». Так говорит старший офицер отдела репатриации министерства Френэ. У него ужасно занятой вид, он сдержан и озабочен. Вежлив. Он говорит: «Сожалею». Я говорю: «Я буду драться до конца». Направляюсь в сторону административных кабинетов. «Куда вы?» — «Я постараюсь остаться». Пытаюсь втиснуться в очередь военнопленных, занимающую весь коридор. Старший офицер говорит, указывая на них: «Как вам угодно, но будьте осторожны, они еще не прошли дезинфекцию. В любом случае, если вечером вы еще будете здесь, мне придется, как ни жаль, выставить вас».

Мы нашли маленький дощатый столик и пристроили его в уголке.

Расспрашиваем пленных. Многие сами подходят к нам. Собираем информацию, сотни имен. Я работаю не поднимая головы и думаю лишь о том, чтобы правильно записать фамилии. К нам подходит офицер весьма приметной наружности -молодой, в ладно пригнанной рубашке цвета хаки, подчеркивающей фигуру, — и спрашивает, кто мы. «Что это такое — Розыскная служба? У вас есть пропуск?» Я показываю свой фальшивый пропуск, он сходит за настоящий. Потом является женщина из отдела репатриации: «Что вам от них надо?» Я объясняю, что мы

собираем информацию. Она спрашивает: «И что вы с ней делаете?» Это молодая женщина, платиновая блондинка, темно-синий костюм, туфли в тон, тонкие чулки, красные ногти. Я отвечаю, что мы публикуем ее в газете «Либр», что это газета, посвященная пленным и депортированным. «Либр»? Так, значит, вы не из министерства?" (sic!) — «Нет». — «У вас есть на это право?» Ее тон становится ледяным. «Мы его себе присвоили». Она удаляется, мы продолжаем опрашивать пленных.

Дело облегчается тем, что очередь продвигается крайне медленно. Пока они доберутся до первого окошка — бюро по проверке личности, — проходит два с половиной часа. У депортированных это займет даже больше времени, потому что у них нет документов и они гораздо слабее, почти все страшно измучены, на пределе сил. Является еще один офицер, лет сорока с лишним, облегающая куртка, крайне сухой тон: «Что тут происходит?» Я еще раз объясняю. Он говорит: «В Центре уже есть аналогичная служба». Я позволяю себе задать вопрос: «Каким образом вы извещаете семьи? Ведь ясно, пройдет не меньше трех месяцев, прежде чем все смогут написать родным». Он смотрит на меня и смеется: «Вы не поняли. Мы не даем информацию семьям. Мы собираем данные о нацистских зверствах. Составляем досье». Он отходит, потом возвращается: «С чего вы взяли, что они говорят правду? Это очень опасно -то, что вы делаете. Вам известно, что среди них скрываются типы из милиции?» Я не говорю ему, что мне плевать. Я не отвечаю. Он удаляется.

Полчаса спустя к нашему столу направляется генерал, сопровождаемый первым офицером и молодой женщиной в темно-синем костюме, тоже с офицерскими нашивками. «Ваши документы». Как полицейский. Я показываю.

«Этого недостаточно. Вам разрешается работать стоя. И чтобы я не видел здесь стола». — «Но он занимает так мало места», — возражаю я. Генерал говорит:

«Министр категорически запретил ставить столы в главном зале (sic!)». Он подзывает двух скаутов, которые уносят столик. Мы работаем стоя. Время от времени звучит радио — то мелодии свинга, то патриотические песни. Очередь пленных увеличивается. Время от времени я подхожу к окошку в глубине зала:

«Депортированных все еще нет?» — «Нет». Помещение заполнили униформы.

Женщины в форме отдела репатриации. Я спрашиваю себя, откуда они взялись после шести лет оккупации, все эти люди в безукоризненной одежде, в кожаной обуви, с холеными руками и этим надменным, жестким тоном, в котором всегда —

возмущаются ли они или любезны и снисходительны — звучит резрение. Д. говорит мне: «Посмотрите на них хорошенько. Запомните их». Я спрашиваю, откуда они явились, почему вдруг здесь, с нами, но главное, кто они.

«Правые, — говорит Д. — Это и есть правые. Вы видите, как деголлевские сотрудники занимают свои места. Правые нашли себя в голлизме благодаря войне. Вот увидите, они будут против любых организаций Сопротивления, не связанных непосредственно с де Голлем. Они оккупируют Францию. Они считают себя ее попечителями, ее разумом. Они надолго отравят Францию, придется привыкать с этим жить». О пленных дамы говорят «бедные мальчики». Друг к другу обращаются, как принято в салонах: «Скажите, моя дорогая... мой дорогой...» Почти у всех, за небольшим исключением, аристократическое произношение. Они здесь для того, чтобы информировать пленных о времени отправки поездов. На их лицах — специфическая улыбка женщин, которые хотят продемонстрировать, до чего они устали, а также свои усилия скрыть эту усталость. Очень душно. Они в самом деле ужасно заняты. Время от времени к ним подходят офицеры, ни обмениваются английскими сигаретами. «Ну что, по-прежнему неустоима?» — «Как видите, мой капитан». Смех. В главном зале шумно — топот, невнятный говор, плач, стоны. Люди все прибывают. Из Бурже подъезжают грузовики. Пленных впускают в Центр группами по пятьдесят человек. Как только появляется группа, включают песню: «Дорога уходит все дальше, дальше, дальше, и нет ей конца». Если группа многочисленней, ставят «Марсельезу». Между песнями паузы, но очень короткие. «Бедные мальчики» оглядывают зал, все улыбаются. Их окружают офицеры из отдела репатриации:

«Давайте, друзья, в очередь». Они становятся в очередь и продолжают улыбаться. Добравшись до окошка по проверке личности, они говорят: «Как это долго», но по-прежнему мило улыбаются. Когда мы обращаемся к ним с вопросами, они перестают улыбаться, они пытаются вспомнить. На днях я видела на Восточном вокзале, как одна из дам в форме напустилась на солдата с орденом Почетного легиона: «Что это, друг мой, почему вы не отдаете мне честь? Разве вы не видите, что я капитан?» Она указала на свои нашивки.

Солдат посмотрел на нее, она была красивая и молодая, и засмеялся. Дама припустила от него чуть ли не бегом: «Какой невежа». Я пошла к начальнику Центра, чтобы уладить дело с Розыскной службой. Он разрешил нам остаться, но в глубине зала, около багажного отделения. Пока нет эшелонов с

депортированными, я держусь. Они возвращаются через «Лютецию», в д'Орсэ пока что попадают лишь одиночки. Я боюсь увидеть Робера Л. Когда объявляют о прибытии депортированных, я покидаю Центр и возвращаюсь лишь после того, как они уходят, я договорилась об этом с товарищами. Когда возвращаюсь, они еще издали делают мне знаки: «Нет, никто не знает Робера Л.» Вечером я иду в газету, даю списки. Каждый вечер я говорю Д.: «Завтра я не пойду в д'Орсэ».

Сегодня прибывает первый эшелон с политическими из Веймара. Утром мне позвонили из Центра. Сказали, что я могу прийти, они будут лишь во второй половине дня. Я иду туда на утренние часы. Но остаюсь на весь день. Я не знаю, куда мне деться, как вынести саму себя.

Д'Орсэ. На улице у Центра — большая толпа сбившихся в кучу жен военнопленных. Их отделяет от пленных белый барьер. Они выкрикивают: «Вы знаете что-нибудь о таком-то?» Иногда солдаты останавливаются, некоторые отвечают. В семь утра женщины уже тут. Есть такие, которые не уходят до трех часов ночи и возвращаются к семи утра. А некоторые остаются на всю ночь. Их не пускают внутрь. Сюда приходит также множество людей, которые никого не ждут, — поглазеть на прибытие военнопленных, на поведение женщин, ожидающих их, и на все остальное, поглазеть, как все это происходит, ведь такое, наверно, никогда больше не повторится, для них это спектакль.

Зрителей можно отличить от прочих по тому, что они не кричат и держатся чуть в стороне от толпы женщин, так, чтобы видеть одновременно и как пленные прибывают, и как встречают их женщины. Военнопленные прибывают в организованном порядке. Ночью их привозят в больших американских грузовиках, и они выгружаются у всех на виду, ярко освещенные. Женщины вопят, хлопают в ладоши. Пленные останавливаются, ошеломленные, растерянные. Днем женщины начинают кричать, как только завидят грузовики, выезжающие с моста Сольферино. Ночью они кричат, когда грузовики уже на подходе к Центру сбавляют скорость. Они выкрикивают названия немецких городов: «Нойесварда?»,

«Кассель?» или номера лагерей — VII -А, III-А... Пленные выглядят удивленными, они прибыли прямо из Германии или из Бурже, иногда они отвечают, но чаще плохо понимают, чего от них хотят, они улыбаются, они оглядываются на женщин, это первые французские женщины, которых они увидели.

Работа идет плохо. Все эти фамилии, которые я записываю одну за другой, всегда чужие, не его. Каждые пять минут — желание все бросить, положить карандаш, ничего больше не выяснять, уйти из Центра и никогда уже не возвращаться. Около двух часов дня я решаю узнать, в котором часу прибывает эшелон из Веймара, покидаю свой пост в коридоре и ищу, к кому бы обратиться за справкой. В углу главного зала я вижу с десятков женщин, сидящих на полу, и женщину-полковника,

разговаривающую с ними. Я подхожу ближе. Полковник -высокая дама в темно-синем костюме с Лотарингским крестом на лацкане; седые волосы слегка подсинены и завиты щипцами. Женщины смотрят на нее и разинув рот слушают, что она говорит, вид у них изможденный. Вокруг валяются перевязанные веревками чемоданы и узлы, на одном спит ребенок. Женщины очень грязные, на лицах застыл страх. У двоих — огромные животы. Чуть поодаль еще одна женщина-офицер глядит на них. Я подхожу к ней и спрашиваю, что происходит. Она смотрит на меня, опускает глаза и стыдливо говорит:

«Добровольцы, завербовавшиеся на работу в Германию». Мадам полковник велит им встать и следовать за ней. Женщины встают и идут за ней. Лица у них такие испуганные, потому что их ошкаркали жены военнопленных, толпящиеся у входа в Центр. Несколько дней назад я присутствовала при возвращении группы женщин-добровольцев. Они шли улыбаясь, как другие, но постепенно почувствовали неладное, и тогда у них стали такие же испуганные лица. Мадам полковник обращается к молодой женщине в форме, с которой я разговаривала; она показывает на женщин пальцем: «Что будем с ними делать?» Та отвечает:

«Не знаю». Мадам полковник, должно быть, объяснила им, какие они мерзавки.

Некоторые плачут. У беременных — остановившийся взгляд. Мадам полковник велит им сесть. Они снова садятся. Большинство женщин -работницы, руки у них почернели от масла немецких машин. Две -нарумяненные, с крашеными волосами — наверняка проститутки, но им тоже пришлось работать у станка, у них такие же почерневшие руки. Подходит офицер из отдела репатриации: «Кто такие?» — «Добровольцы, работавшие в Германии».

Мадам поворачивается к женщинам и говорит угрожающе: «Сидите и никуда не отходите... Понятно? Не думайте, что вас просто так отпустят». Голос у нее резкий, она делает угрожающий жест рукой. Офицер из отдела репатриации приближается к сбившимся в кучу женщинам, рассматривает их и, стоя перед ними, спрашивает даму-полковника: «У вас есть приказ?» Полковник: «Нет, а у вас?» — «Мне сказали, шесть месяцев тюремного заключения». Мадам полковник одобрительно кивает своей красивой завитой головой: «Так им и надо...» Офицер курит «Кэмел», выпуская дым поверх растерянных женщин, которые внимательно следят за разговором. «Да, поделом!» И он уходит, молодой, элегантный, светский, с американской сигаретой в руке. Добровольцы смотрят и слушают, подстерегая хоть какой-то знак относительно ожидающей их участи.

Никаких знаков. Мадам полковник удаляется, я останавливаю ее: «Вы не знаете, в котором часу прибывает эшелон из Веймара?» Она пристально смотрит на меня:

«В три часа». Она смотрит на меня снова, еще и еще, оценивает и говорит с легким раздражением: «Не надо создавать толчею в Центре, вам незачем ждать, там будут только генералы и префекты, идите домой». Такого я не ожидала. Я говорю: «А как же другие?» Кажется, я оскорбила ее. Она выпрямляется: «Не выношу подобной психологии! Идите жаловаться в другое место, деточка». Она до того возмущена, что спешит рассказать о случившемся группе женщин в форме; те слушают, тоже возмущаются, глядят на меня. Я подхожу к одной из них. Я говорю: «Она никого не ждет — вон та?» Женщина смотрит на меня, шокированная. Она пытается успокоить меня. Говорит: «У нее столько работы, бедняжка изнервничалась». Я возвращаюсь к своему столу в Розыскной службе.

Немного погодя опять иду в главный зал. Д. ждет меня там с фальшивым пропуском.

Около трех часов — гул: «Идут». Я становлюсь у входа в небольшой коридор, против главного зала. Жду. Я знаю, что Робера Л. там не будет. Д. стоит рядом со мной. Он будет опрашивать депортированных, не знают ли они чего о Робере Л. Он бледен. Не обращает на меня внимания. Зал гудит от голосов. Женщины в форме суетятся около добровольцев, заставляют их пересест в дальний угол. В зале пусто. Прибытие военнопленных приостановлено. Офицеры из отдела репатриации прохаживаются взад-вперед.

Микрофоны умолкли — перерыв. Я слышу: «Министр». Среди офицеров узнаю Френэ. Я стою на том же месте в коридоре. Смотрю на вход. Я знаю, нет ни малейшего шанса, что там появится Робер Л. Но, может быть, Д. удастся что-нибудь узнать. Мне не по себе. Я дрожу, мне холодно. Прислоняюсь к стене. И вдруг — гул: «Вот они!» Женщины на улице не кричат, не аплодируют.

Вдруг из вестибюля возникают два скаута, они несут человека. Человек держится за них, обхватив руками за шеи. Скауты несут его, подложив скрещенные руки под ляжки. Человек одет в гражданское, наголо обрит, видно, что ему очень плохо. Кожа какого-то странного цвета. Похоже, он плачет.

Недостаточно сказать, что он худой, это что-то другое, от него мало что осталось, так мало, что сомневаешься, жив ли он. Но нет, он еще жив, его лицо дергается в жуткой гримасе, он живет. Он не смотрит ни на министра, ни на зал, ни на флаги, никуда. Может быть, его гримаса означает улыбку. Это первый

депортированный из Веймара, появившийся в Центре. Сама не знаю как, я оказалась посреди главного зала, спиной к микрофону. Входят еще два скаута, они несут другого, старика. Затем появляется целая группа депортированных, человек двенадцать, видно, что они в лучшем состоянии, чем первые два. Они идут сами, их лишь поддерживают. Всех усаживают на садовые скамейки, расставленные в зале. Министр направляется к ним. Старик, появившийся вторым, плачет. Нельзя понять, действительно ли он такой старый, как выглядит, может быть, ему двадцать лет, невозможно определить его возраст.

Министр приближается, снимает шляпу, подходит к старику, протягивает ему руку. Старик берет ее, он не знает, что это рука министра. Женщина в синей форме кричит ему: «Это министр! Он пришел встретить вас!» Старик продолжает плакать, он не поднимает головы. Вдруг я вижу, что рядом со стариком сидит Д. Мне ужасно холодно, зуб на зуб не попадает. Кто-то подходит: «Вам не стоит тут оставаться, вы заболаете». Я знаю этого типа, он работает в Центре. Я остаюсь. Д. начал говорить со стариком. Я быстро прикидываю: есть один шанс из ста тысяч, что этот старик знал Робера Л. В Париже говорят, что у военных есть списки выживших в Бухенвальде. По-видимому, другие депортированные не в таком уж плохом состоянии. Министр и старшие офицеры сидят рядом с ними. Д. уже долго говорит со стариком. Я смотрю лишь на лицо Д. По-моему, разговор затянулся. Я очень медленно приближаюсь к скамье, чтобы попасть в поле зрения Д. Он замечает меня, смотрит и отрицательно качает головой: «Нет, он его не знает». Я отхожу. Я ужасно устала, хочется лечь на пол. Женщины в форме приносят депортированным судки с едой. Те едят и, не прерывая еды, отвечают на вопросы, которые им задают. Поразительное дело, их, по-видимому, совсем не интересует то, что им говорят. Завтра я узнаю из газет, что среди этих людей, этих стариков были: генерал Шалль, его сын Юбер Шалль, курсант Сен-Сира, который умер в ту же ночь, ночь возвращения, генерал Одибер, директор Государственного управления табачных фабрик Феррьер, главный администратор Национальной библиотеки Жюльен Кэн, генерал Эрто, профессор медицинского факультета в Анжере Сюар, профессор Рише, Клод Бурде — брат министра информации, Морис Негр...

Около пяти часов я покидаю Центр, иду по набережной.

Стоит прекрасная погода, прекрасный солнечный день. Я спешу домой -запереться наедине с телефоном, вернуться в черный ров. Как только сворачиваю с набережной на улицу Бак, город отдалается и Центр д'Орсэ исчезает. Возможно, он все-таки вернется. Я ничего уже не знаю. Я очень устала. Я очень грязная.

Часть ночей я провожу в Центре. Когда приду домой, надо будет решиться принять ванну: наверно, уже неделю я не моюсь. Весной я так зябну, даже при мысли о том, чтобы помыться, меня бросает в дрожь, у меня что-то вроде постоянной лихорадки, она уже никогда не пройдет. Сегодня вечером я думаю о себе. Никогда не встречала более трусливой женщины.

Мысленно перебираю женщин, которые тоже ждут, нет, ни одной такой трусливой, как я, среди них не найдется. Я знаю очень мужественных. Необычайно мужественных. Моя трусость такова, что никто уже не находит для нее слов.

Кроме Д. Мои товарищи по Розыскной службе смотрят на меня как на больную. Д. говорит мне: «В любом случае вы не имеете права так изводить себя». Он часто говорит мне: «Вы больная. Вы сумасшедшая. Посмотрите на себя, вы уже ни на что не похожи». Я не в состоянии понять, чего от меня хотят. (Даже теперь, когда я переписываю этот дневник моей молодости, я не улавливаю смысла этих фраз.) Ни секунды я не вижу необходимости сохранять мужество. Возможно, для меня это было бы как раз трусостью — сохранять мужество. Сюзи сохраняет мужество ради своего малыша. А мой ребенок, наш с Робером Л. ребенок, умер при родах — из-за войны, он тоже жертва войны: врачи в то время редко выезжали по ночам, не хватало бензина. Так что я одна. Зачем же в таком случае беречь силы? Мне не за что бороться. А о той борьбе, которую я веду, никто не может знать. Я сражаюсь с видениями, с картинами черного рва.

Бывают минуты, когда они сильнее меня, тогда я кричу или выхожу из дому и брожу по Парижу. Д. говорит: «Потом, когда вы будете вспоминать об этом, вам станет стыдно». На улицах, как обычно, люди, перед магазинами очереди, уже появились первые вишни, женщины ждут их. Я покупаю газету. Русские в Штраусберге, может быть даже дальше, на подступах к Берлину. Женщины, стоящие в очереди за вишнями, ждут падения Берлина. Я тоже. «Им покажут, они узнают, почем фунт лиха», — говорят люди. Весь мир ждет. Правительства всего мира договорились. Когда сердце Германии перестанет биться, все будет кончено, пишут газеты. Жуков поставил вокруг Берлина, через каждые восемьдесят метров, пушки, которые с расстояния в шестьдесят километров непрерывно обстреливают центр города. Берлин полыхает. Он сгорит дотла.

Среди его развалин потечет немецкая кровь. Иногда кажется, что чувствуешь запах этой крови. Видишь ее. Священник из военнопленных привез с собой в Центр немецкого мальчика-сироту. Он держал его за руку, он гордился им, показывал его, он объяснял, как нашел его, и повторял, что бедный малыш ни в чем

не виноват. Женщины глядели на священника неприязненно. Он присвоил себе право уже сейчас все простить, отпустить грехи. Не считаясь с их болью и таким долгим ожиданием. Он позволил себе незамедлительно, здесь и сейчас осуществить свое право прощения и отпущения, ничего не зная о той страшной ненависти, которой мы жили, благой и утешительной, как вера в Бога. Так что же мог он нам сказать? Никогда еще священник не казался столь неуместным.

Женщины отводили от него глаза, они плевались при виде его ясной, сияющей милосердием улыбки. Отворачивались от ребенка. Их разделяла пропасть. По одну сторону остался сплоченный и непримиримый фронт женщин, по другую -этот одинокий человек, чья правота говорила на языке, который женщины разучились понимать.

Говорят, Монти перешел Эльбу, но это неточно, намерения Монти не так очевидны, как намерения Паттона. Паттон рвется вперед. Паттон взял Нюрнберг.

А Монти, по слухам, вошел в Гамбург. Мне позвонила жена Давида Руссе: «Они в Гамбурге. Еще много дней они ничего не скажут о лагерях Гамбурга-Нойенгамме». Последнее время она ужасно волновалась, и не даром.

Давид был там, в Берген-Бельзене. Немцы расстреливали. Союзники продвигаются очень быстро, у немцев нет времени вывозить заключенных, они их расстреливают. Мы еще не знаем, что иногда у них нет времени расстреливать, и тогда они оставляют их в живых. Галле уже очищен. Хемниц взят и остался позади, фронт подошел к Дрездену. Патч очищает Нюрнберг. Жорж Бидо ведет переговоры с Трумэнном относительно Конференции в Сан-Франциско. Я хожу по улицам. Мы устали, устали. Сто сорок тысяч военнопленных вернулись на родину. До сих пор нет цифры депортированных. Несмотря на все усилия, министерские службы не в состоянии справиться с этим потоком. Пленные часами дожидаются в саду Тюильри. Сообщают, что Ночь кино в этом году будет отмечена с особым блеском и великолепием. Во Франции было арестовано шестьсот тысяч евреев. Уже сейчас говорят, что вернется лишь один из ста.

Значит, шесть тысяч. В это еще верят. Он может вернуться с евреями. Уже месяц, как он мог послать нам весточку. Почему бы не с евреями. Кажется, я достаточно ждала. Мы устали. Еще одна партия депортированных должна прибыть из Бухенвальда. Булочная открыта, надо, наверно, купить хлеб, чтобы не пропали карточки. Это преступно — дать пропасть карточкам. Есть люди, которые никого не ждут. И есть люди, которые больше не ждут. Позавчера, вернувшись из Центра, я пошла на улицу Бонапарт предупредить одну семью. Я позвонила, мне открыли, я сказала: «Я из Центра д'Орсэ, ваш сын вернется, он здоров». Дама уже знала, пять дней назад пришло письмо от сына. Д. ждал меня снаружи. Я сказала: «Они знали о сыне, он написал им. Значит, они могут писать». Д. не ответил. Это было два дня назад. С каждым днем я все меньше жду. Вечером моя консьержка подстерегает меня перед дверью, она говорит, чтобы я зашла к школьной консьержке мадам Бордес. Я говорю, что пойду завтра, потому что сегодня возвращается лагерь VII-A, о III-A еще нет речи. Консьержка бежит к ней сообщить. Медленно поднимаюсь к себе, я задыхаюсь, совершенно обессиленная. Я перестала

навещать мадам Бордес, постараюсь пойти к ней завтра утром. Холодно. Сажусь на диван рядом с телефоном. Война подходит к концу. Не знаю, хочу ли я спать. В последнее время мне совсем не хочется спать. Я просыпаюсь и только тогда понимаю, что спала. Я встаю, прижимаюсь лбом к оконному стеклу. Ресторан «Сен-Бенуа» гудит внизу как улей, там полно. У них есть подпольное меню для тех, кто может заплатить. Это ненормально, так ждать. Я никогда ничего не узнаю. Я только знаю, что он много месяцев голодал и так и не увидел куска хлеба перед смертью, ни разу. Последнее желание умирающего не исполнилось. После седьмого апреля у меня есть выбор. Возможно, он был среди двух тысяч расстрелянных в Бельзене. В Миттель-Глатбахе нашли груды трупов, тысячу пятьсот трупов. Везде, по всем дорогам Германии тянутся длинные колонны растерянных людей, они не знают, куда их гонят, капо и начальники тоже не знают этого. Сегодня двадцать тысяч выживших узников Бухенвальда отдают последний долг мертвецам, пятьдесят одной тысяче расстрелянных. Погибших накануне прихода союзников. Убитых всего за несколько часов до этого! Зачем?

Говорят — чтобы они не рассказали. В некоторых лагерях союзники нашли еще теплые трупы. Что делают в последнюю минуту, когда проигрывают войну? Бьют посуду, бьют зеркала, швыряя в них камни, убивают собак. Я больше не испытываю ненависти к немцам, это уже нельзя так назвать. Конечно, какое-то время я их ненавидела, это было понятно, до того ненавидела, что хотела, чтобы их всех, до последнего, уничтожили, чтобы Германию стерли с лица земли, вот именно, — дабы такое никогда больше не оказалось возможным. Но теперь я уже не умею отделить любовь, которую испытываю к нему, от ненависти, которую питаю к ним. Это две стороны единой картины: на одной — он, лицом к немцу, в его глазах угасает надежда, которой он жил двенадцать месяцев, на другой — глаза немца, который целится в него. Вот два лица, две стороны этой картины. Мне приходится выбирать между ним, который скатывается в ров, и немцем, который закидывает за спину автомат и уходит. Я не знаю, что делать — обхватить руками его тело и дать уйти немцу или оставить Робера Л. и вцепиться в немца, который его убил, выцарапать ему глаза, не увидевшие глаз Робера. Уже три недели я говорю себе, что надо помешать им убивать, когда они удирают. Никто ничего не сделал. Можно было бы послать команды парашютистов, которые удерживали бы лагерь в течение двадцати четырех часов, пока не подойдут союзники. Еще в августе 1944 года Жак Оврэ попытался разработать план таких операций. Ничего не вышло, потому что Френэ не хотел поддержать

инициативу, исходившую от движения Сопротивления. Сам же он, министр по делам военнопленных и депортированных, не имел возможности организовать операцию. И стало быть, допустил расстрелы. Теперь уже до самого конца, до освобождения последнего лагеря заключенных будут расстреливать. Ничего уже нельзя сделать, чтобы помешать этому. Иногда на моей двусторонней картинке я вижу Френэ, который смотрит из-за плеча немца...

Прижаться лбом к холодному стеклу. Я больше не в силах удерживать свою голову. Ноги и руки у меня тоже тяжелые, но не такие, как голова. Не голова, а сплошной нарыв. Стекло приятно холодит. Через час Д. будет здесь. Я закрываю глаза. Если он вернется, мы поедem к морю, это будет для него самым большим удовольствием. Думаю, что я умру в любом случае. Если он вернется, я тоже умру. Если он позвонит. «Кто там?» — «Это я, Робер Л.», — я смогу лишь открыть ему дверь и умереть. Если он вернется, мы поедem к морю. Будет лето, разгар лета. Между тем моментом, когда я открываю ему дверь, и тем, когда мы окажемся у моря, меня нет, я мертва. В той как бы посмертной жизни я вижу зеленое море, бледно-оранжевый пляж, песок. В моей голове гуляет солоноватый ветерок, от которого путаются мысли. Я не знаю, где он в тот момент, когда я вижу море, но знаю, что он жив. Что он тоже дышит где-то на земле. Я могу, значит, лежать на пляже и отдыхать. Когда он вернется, мы поедem к морю, к теплomu морю. Это будет для него самым большим удовольствием, и к тому же это очень полезно. Он приедет, пойдет на пляж, он будет там стоять и смотреть на море. А мне хватит и того, что я буду смотреть на него. Я ничего не прошу для себя. Прижаться головой к оконному стеклу. Кажется, я в самом деле плачу. Одна из шестисот тысяч, которые плачут. Человек у моря — это он. В Германии ночи были холодные. Здесь, на пляже, он стоит в одной рубашке и разговаривает с Д. Они поглощены разговором. А я буду мертва. Как только он вернется, я умру, иначе просто не может быть. Это моя тайна. Д. ничего не знает. Я это выбрала — ждать так, как я его жду, насмерть. Это мое дело. Я возвращаюсь к дивану, ложусь. Д. звонит в дверь, я открываю: «Ничего?» — «Ничего». Он садится в гостиной рядом с диваном. Я говорю: «Думаю, надеяться почти не на что». У Д. раздраженный вид, он не отвечает. Я продолжаю: «Завтра уже двадцать второе апреля, двадцать процентов лагерей освобождено. Я видела в Центре Сореля, он сказал, что только один заключенный из пятидесяти вернется». У Д. нет сил отвечать, но я продолжаю. В дверь звонят. Это М., шурин Робера Л.: «Ну что?» — «Ничего.» Он качает головой, задумывается, потом говорит: «Проблема в связи,

они не могут написать. Говорят, в Германии больше нет регулярной почты». Я говорю: «Но я точно знаю, что люди получают вести из Бухенвальда».

Я напоминаю, что эшелон от 27 августа, в котором увезли Робера Л., прибыл в Бухенвальд. «Откуда вы знаете, что в начале года его не перевели в другой лагерь?» Я говорю им, чтобы они оставили меня и шли домой. Какое-то время я слышу, как они разговаривают — все тише и тише. Разговор прерывается длинными паузами, потом голоса внезапно возвращаются. Я чувствую, кто-то берет меня за плечо: это Д. Я спала. Д. кричит: «Что с вами? Почему вы вдруг засыпаете?» Я опять проваливаюсь в сон. Когда я проснулась, М. уже ушел. Д. идет за градусником. У меня жар.

В бреду я снова вижу ее. Три дня вместе с другими она стояла в очереди на улице Соссэ. Ей было лет двадцать. У нее огромный, выпирающий из тела живот. Она пришла из-за расстрелянного мужа. Ей прислали извещение, чтобы она явилась за вещами. Она пришла. Она все еще боялась. Двадцать два часа в очереди, чтобы получить его вещи. Несмотря на жару, она дрожала. И говорила, говорила, не могла остановиться. Она хотела взять его вещи, чтобы еще раз взглянуть на них. Да, она должна родить через две недели, ребенок не будет знать своего отца. В очереди она читала и перечитывала последнее письмо мужа своим соседкам: «Скажи нашему ребенку, что я был мужественным». Она говорила, она плакала, она не могла ничего удержать в себе. Я думаю о ней, потому что она больше не ждет. Я спрашиваю себя, узнаю ли ее на улице, я забыла ее лицо, вижу только этот огромный живот, выпирающий из тела, это письмо в руке, которое она протягивала, словно желая отдать. Двадцать лет.

Ей принесли складной стул, она попыталась сесть и тут же встала, она могла выдержать себя только стоя.

Воскресенье, 22 апреля 1945

Д. спал у меня. Этой ночью мне не звонили. Надо пойти к мадам Бордес. Я делаю себе очень крепкий кофе, принимаю таблетку коридрана. Головокружение и тошнота должны пройти. Мне станет лучше. Сегодня воскресенье, почты нет. Я отношу Д. чашку кофе. Он смотрит на меня и ласково, нежно улыбается:

«Спасибо, моя маленькая Маргерит». Я кричу «нет»: мое имя мне отвратительно.

После коридрана очень сильно потеешь и температура падает. Сегодня я не иду ни в Центр, ни в типографию. Надо купить газету. Еще одна фотография Бельзена, очень длинный ров, в котором рядами сложены трупы, таких худых тел никто никогда не видел. «Фронт в четырех километрах от центра Берлина».

Русское коммюнике изменяет своей привычной сдержанности. Г-н Плевен делает вид, будто управляет Францией, он объявляет об упорядочении заработной платы и ревальвации сельскохозяйственных продуктов. «Ждать осталось недолго», - говорит г-н Черчилль. Возможно, уже сегодня войска союзников соединятся с русскими. Дебрю-Бридель возмущается тем, что муниципальные выборы будут проводиться без депортированных и военнопленных. «Фрон насьональ» сообщает на второй полосе, что утром тринадцатого апреля в сарае близ Магдебурга нацисты сожгли заживо тысячу депортированных. Симпсон взял двадцать тысяч пленных. Монти встретился с Эйзенхауэром. Берлин горит. «Со своего командного пункта Сталин, должно быть, наблюдает это чудесное и жуткое зрелище». За последние двадцать четыре часа в Берлине двадцать семь раз объявляли тревогу. Там еще остались живые. Я иду к мадам Бордес. Сын стоит в дверях. Дочь плачет на диване. Комната грязная, неприбранная, мрачная.

Комната полна слез и стенаний мадам Бордес, она похожа на Францию.

«Поглядите на нее, — говорит сын, — она не хочет больше вставать». Мадам Бордес лежит и смотрит на меня, у нее распухшее от слез лицо. Она говорит:

«Да, так-то вот». Я привычно повторяю: «У вас нет никаких причин доводить себя до такого состояния, из III -А еще не возвращались». Она колотит кулаком по постели и кричит: «Вы мне уже говорили это неделю назад». — «Я не выдумываю, читайте газету». — «В газете ничего определенного не сказано». Она упрямая, не хочет на меня смотреть. Она говорит: «Вы твердите мне, что они еще не возвращаются, а на улицах их

полным-полно». Она знает, что я очень часто бываю в министерстве Френэ, в Розыскной службе. Если я умело возьмусь за дело, мадам Бордес встанет с постели и дня три продержится. Усталость. Это правда, что III -А должны были освободить еще два дня назад. Мадам Бордес ждет, что я ей скажу. Там, на дорогах, из колонны выходит человек. Автоматные очереди. Мне хочется оставить ее, пусть умирает. Но мальчик, ее сын, смотрит на меня. И я читаю ей хронику: «Те, кто возвращается...», на ходу сочиняя. Потом отправляюсь за хлебом, поднимаюсь к себе. Д. играет на пианино. Он всю жизнь, что бы ни случилось, играет на пианино. Сажусь на диван. Я не решаюсь ему сказать, чтобы он не играл. Что от этого болит голова и возвращается тошнота. Все-таки странно, что нет никаких вестей, совсем никаких. Им не до того. Миллионы людей ждут конца войны. Германия разваливается. Берлин горит. Тысячи городов стерты с лица земли. Миллионы мирных жителей бегут: бежит гитлеровский электорат. Каждую минуту с аэродромов поднимаются пятьдесят бомбардировщиков. У нас занимаются подготовкой муниципальных выборов. Занимаются также репатриацией военнопленных. Поговаривали о том, чтобы использовать частные машины и квартиры, но на это не решились пойти, опасаясь недовольства владельцев. Де Голля это не интересует. Де Голль даже о своих сторонниках, попавших в концлагеря, всегда упоминает в последнюю очередь, вслед за участниками боев в Северной Африке. Третьего апреля де Голль сказал преступную фразу: «Дни слез прошли. Вернулись дни славы». Мы никогда этого не простим... Де Голль не говорит о концлагерях, просто поразительно, до какой степени он игнорирует их, как демонстративно пренебрегает болью народа, не желая приобщить ее к победе. Потому что боится, что это умалит его собственную роль, принизит его значение... Де Голль объявил национальный траур из-за смерти Рузвельта. Он не объявил национального траура по погибшим в лагерях.

С Америкой надо считаться. Франция оденется в траур из-за Рузвельта.

Народный траур ей не к лицу.

При таком ожидании ты уже не существуешь. В твоей голове больше картин ужасов, чем на дорогах Германии. Каждую минуту в твоей голове — автоматные очереди. И ты продолжаешь жить, тебя они не убивают. Расстрелян на дороге.

Умер голодный. Его голод, подобно стервятнику, кружит у меня в голове. Я не могу ничего ему дать. Только и остается, что протягивать хлеб в никуда. Не зная даже, нужен ли ему еще хлеб. Покупаешь мед, сахар, макароны. Говоришь себе: если он умер, я все сожгу. Его голод обжигает меня, ничто не может притушить

эту боль. Умирают от рака, от несчастного случая на дороге, от голода, нет, от голода не умирают, их приканчивают раньше. Пуля в сердце завершает то, что недоделал голод. Я хотела бы отдать ему свою жизнь. Я не могу дать ему куска хлеба. Это не называется думать, все слишком неопределенно, зыбко. Для нас с мадам Бордес существует лишь настоящее. Мы можем представить себе еще один день жизни, не больше. Мы не можем загадывать на три дня вперед, для нас покупать масло или хлеб на три дня - все равно что бросить вызов Богу. Мы держимся за Него, мы цепляемся за что-то вроде Бога. Д. говорит: «Нет такой глупости, такой чепухи, которую вы бы не сказали...» Как и мадам Бордес. Некоторые люди говорят теперь:

«Нужно осмыслить события». Д. говорит мне: "Вы должны попытаться читать.

Надо уметь читать, что бы ни случилось". Я делала попытки читать, я все готова сделать, но фразы не складываются в связное целое, хотя и подозреваешь, что эта связь есть. А иногда думаешь, что ее нет и никогда не было, что правда открылась тебе лишь теперь. Для нас существует совсем другая связь — та, что приковывает нашу жизнь к их телам. Быть может, он умер еще пятнадцать дней назад и тихо лежит в этом черном рву. По нему уже ползают насекомые, черви, они поселились в нем. Пуля в затылке? в сердце? во лбу? Мертвенно-бледный рот прижат к немецкой земле, а я все еще жду его, потому что ничего нельзя знать точно, и, возможно, у него еще осталась секунда. Потому что с секунды на секунду он, возможно, умрет, но пока этого еще не случилось. И так вот секунда за секундой нас тоже покидает жизнь, все надежды умирают, и так же секунда за секундой жизнь возвращается к нам, надежды воскресают. Быть может, он в колонне, бредет, согнувшись, вперед, шаг за шагом, быть может, он так устал, что не сделает следующего шага? Быть может, он не смог сделать этот шаг еще две недели назад? шесть месяцев? час? секунду? Во мне не осталось места ни для каких книг, даже для одной-единственной строки. Все написанные книги далеко отстали от нас с мадам Бордес. Мы бьемся, безоружные, в первых рядах безымянной, бескровной, бесславной битвы, мы — на передовой ожидания. За нами — обращенная в прах цивилизация и вся накопленная веками мудрость. Мадам Бордес не позволяет себе никаких предположений. В голове мадам Бордес, как и в моей, происходят какие-то бессмысленные сотрясения, что-то, чему нет названия, мучительно дергается, ворочается, возникают какие-то просветы, которые ведут, казалось бы, к выходу, но потом сужаются, сходят на нет, исчезая почти бесследно; все — сплошная мука, все кровоточит и кричит от боли, и потому мысль

не может сформироваться, она не участвует в хаосе, но постоянно вытесняется этим хаосом, бессильная справиться с ним.

Апрель, воскресенье

Как всегда, на диване рядом с телефоном. Сегодня, да, сегодня Берлин будет взят. Нам объявляют об этом каждый день, но сегодня в самом деле все будет кончено. Газеты сообщают, каким образом мы об этом узнаем: завоют сирены — в последний раз. Последние военные сирены. Я не хожу больше в Центр, я больше не пойду туда.

Они прибывают в «Лютецию», они прибывают на Восточный вокзал. На Северный вокзал. С этим кончено. Я не только не пойду в Центр, я вообще не двинусь с места. Я верю в это, но вчера я тоже верила, а в десять часов вечера вышла из дому, села в метро и поехала к Д. Я позвонила, он открыл мне. Он обнял меня: «Что-то случилось?» — «Ничего. Я больше не могу». И я пошла обратно. Я не захотела даже войти в комнату. Мне нужно было лишь взглянуть на него, чтобы проверить, нет ли у него на лице признаков лжи, не скрывает ли Д. от меня его смерть. Потому что дома, когда пробило десять, на меня вдруг напал страх. Такой страх, когда боишься всего. Я подняла голову и вдруг увидела, что комната изменилась, что свет лампы тоже изменился и вдруг стал желтым. И внезапно — словно шквал налетел — полная уверенность: он умер. Никаких сомнений: умер. Умер. Двадцать первого апреля, он умер двадцать первого апреля. Я встаю и выхожу на середину комнаты. Это произошло мгновенно. В висках больше не стучит. Все уже другое. Мое лицо опадает, меняется. Я распадаюсь, растекаюсь, меняюсь. Я уже не чувствую своего сердца. Ужас медленно поднимается и захлестывает меня, я тону. Я больше не жду, до того мне страшно. Конец, это конец? Где ты? Как узнать? Я не знаю, где он. Не знаю, где я сама. Я не знаю, где мы находимся. Как называется это место? Что это за место? Что означает вся эта история? О чем, о ком в ней идет речь? Кто он такой, этот Робер Л.? Боли больше нет. Я начинаю понимать, что между мной и этим человеком нет больше ничего общего. Точно так же я могла бы ждать кого-нибудь другого. Меня больше нет. Если я не существую, зачем ждать Робера Л.? Точно так же она могла бы ждать другого, раз уж ей нравится ждать. Ничто больше не связывает ее с этим человеком. Кто он, этот Робер Л.? Существовал ли он вообще? Что он делает, этот Робер Л.? Как получилось, что ждут его, именно его, а не другого? Чего она в самом деле ждет? Какого еще ожидания дожидается? В какие игры играет вот уж пятнадцать дней, с тех пор как заморочила себе голову этим ожиданием? Что происходит в этой комнате? Кто она? Кто она, знает Д. Где Д.?

Она знает это, она может пойти к нему и потребовать объяснений. Я должна повидаться с ним, так как что-то случилось, что-то новое. Я пошла к нему. По-видимому, ничего не случилось.

Вторник, 24 апреля

Звонит телефон. Я просыпаюсь во тьме. Зажигаю свет. Смотрю на будильник: пять тридцать. Ночь. Я слышу: «Алло?.. Что?» Это Д., он спал рядом. Я слышу: «Что, что вы говорите? Да, это здесь, да, Робер Л.» Молчание. Д. держит телефон, я пытаюсь вырвать у него трубку, он не отпускает. Это продолжается долго. «Какие сведения?» Молчание. Говорят с другого конца Парижа. Я пытаюсь вырвать у него трубку, это трудно, это невозможно. «И что? Товарищи?» Д. отпускает трубку и говорит мне: "Это товарищи Робера, они в студии «Гомон». Она вопит: «Это неправда!» Д. снова берет трубку. «А Робер?» Она пытается вырвать у него аппарат. Д. ничего не говорит, он слушает, телефон у него. «Вы больше ничего не знаете?» Д. поворачивается к ней: «Они расстались с ним два дня назад, он был жив». Она больше не пытается вырвать телефон. Она валится на пол. Что-то прорвалось в ней при словах, что два дня назад он был жив. Она не сопротивляется, пусть.

Прорвалось и выходит через рот, нос, глаза. Надо, чтобы оно вышло наружу. Д. кладет трубку. Он произносит ее имя: «Маргерит, моя маленькая Маргерит». Он не подходит к ней, не поднимает, он знает, что ее нельзя трогать. Она занята. Оставьте ее в покое. Это выходит из нее, вытекает, как вода, отовсюду. Живой. Живой. Д. говорит: "Маргерит, моя маленькая Маргерит.

Живой, как вы и я, два дня назад". Она говорит: «Оставьте меня, оставьте».

Это выходит из нее стонами, криками. Оно выходит как хочет, всеми возможными способами. Выходит. Пусть, пусть. Д. говорит: «Надо ехать, они в студии „Гомон“, ждут нас. Но сперва сделаем кофе». Д. говорит это, потому что хочет, чтобы она выпила кофе. Д. смеется. Он говорит не переставая: "Ну, молодчина!.. как мы могли подумать, что они одолеют его... Робер умница...

Наверно, он спрятался в последний момент... А мы-то считали его беспомощным из-за его вида". Д. в ванной. Он сказал: «из-за его вида». Она на кухне, стоит прислонившись к шкафу. Да, вид у него и вправду был не от мира сего.

Он казался рассеянным. Выглядел так, словно ничего вокруг не видит, всегда устремленный к абсолютной сути доброты. Она по-прежнему стоит прислонившись к кухонному шкафу. Всегда погруженный в абсолютную боль ищущей мысли. Она заваривает кофе. Д. повторяет: «Через два дня мы его увидим, он придет».

Кофе готов. Вкус горячего кофе: он жив. Я быстро одеваюсь.

Принимаю таблетку коридрана. Меня по-прежнему лихорадит, я вся в поту. Улицы безлюдны. Д. идет очень быстро. Входим в студию «Гомон», превращенную в транзитный центр.

Как договорено, спрашиваем Элен Д. Она приходит, она смеется. Мне холодно.

Где они? В отеле. Она ведет нас.

Отель. Все освещено. Взад-вперед снуют люди — мужчины в полосатых арестантских робах, сотрудницы социальных служб в белых халатах.

Депортированные прибывают всю ночь. «Вот эта комната». Провожатая уходит. Я говорю Д.: «Постучите». Сердце отчаянно колотится, я не смогу войти. Д. стучит. Я вхожу вместе с ним. В изножье кровати — мужчина и женщина, они не разговаривают. Это родственники. В постели — двое депортированных. Один спит, ему лет двадцать. Второй улыбается мне. Я спрашиваю: «Вы — Перротти?» — «Да, это я». — «Я жена Робера Л.» — «Мы расстались с ним два дня назад». — «Как он себя чувствовал?» Перротти смотрит на Д.: «Там были и куда более изможденные». Молодой просыпается: «Робер Л.? Ах да, мы должны были вместе бежать». Я сажусь у кровати. Я спрашиваю: «Они расстреливали?» Молодые люди переглядываются, они отвечают не сразу. «То есть... они перестали расстреливать». Д. вступает в разговор: «Это точно?» Отвечает Перротти: «Когда мы уходили, они уже два дня не расстреливали».

Депортированные разговаривают между собой. Молодой спрашивает: «Откуда ты знаешь?» — «Мне сказал об этом русский капо». Я: «Что он вам сказал?» — «Он сказал, что они получили приказ больше не расстреливать». Молодой:

«Бывали дни, когда они расстреливали, и бывали дни, когда нет». Перротти смотрит на меня, смотрит на Д., он улыбается: «Мы очень устали, вы должны нас извинить». Д. не сводит глаз с Перротти: «Как это вышло, что он не с вами?» — «Мы вдвоем искали его перед отходом поезда, но не нашли». — «Хотя мы старались». — «Так почему же вы не нашли его?» — «Было темно, — говорит Перротти, — и потом, нас там было много, несмотря на все...» — «Вы хорошо искали?» — «То есть...» Они переглядываются. «Да, — говорит молодой, — а как же... мы даже звали его, хотя это было опасно». — «Он хороший товарищ, — говорит Перротти, — мы его искали, он читал нам лекции о Франции. Это надо было видеть, он говорил, говорил, прямо околдовывал слушателей...» Я: «Раз вы не нашли его, значит, его не было в живых? Значит, его расстреляли?» Д. резко придвигается к кровати, он рассержен, но сдерживается, он почти так же бледен, как Перротти. «Когда вы видели его в последний

раз?» Они переглядываются. Я слышу голос женщины: «Они устали». Мы допрашиваем их, как преступников, не даем ни секунды передышки. «Я, во всяком случае, видел его, — говорит молодой, — я в этом уверен». Он смотрит куда-то вдаль и повторяет, что уверен, но он ни в чем не уверен.

Никакая сила не заставит Д. замолчать. «Постарайтесь вспомнить, когда вы его видели в последний раз». — «Я видел его в колонне, кажется справа, не помнишь? Было еще светло... Это было за час до того, как мы добрались до вокзала». Молодой: «Сдохнуть можно, до чего я устал... я, во всяком случае, видел его после его побега, я в этом уверен, потому что мы даже договорились с ним удрать с вокзала». — «Как, разве он бежал?» — «Да, он попытался бежать, но его поймали...» — «Как, разве они не расстреливали тех, кто бежал? Вы скрываете от нас правду». Перротти не может больше ничего рассказать, память никуда не годится, решето, он обескуражен. «Говорю вам, он вернется». В этот момент Д. решительно вмешивается. Он велит мне замолчать, он начинает все заново: «Когда он бежал?» Они переглядываются.

«Накануне?» — «Да, наверно». Д. спрашивает, он умоляет: «Извините нас, но сделайте усилие... постарайтесь припомнить». Перротти улыбается: «Я все понимаю, но мы до того устали...» Они замолкают, полная тишина. Потом молодой: «Я уверен, что видел его после того, как он бежал, я видел его в колонне, теперь я в этом уверен». Перротти: «Когда? Как?» — «С Жираром, с правой стороны, я уверен в этом». Я повторяю: «Как вы узнавали, когда они расстреливали?» Перротти: «Не бойтесь, мы бы знали, мы всегда знали, эсэсовцы расстреливали в хвосте колонны, товарищи передавали по цепочке, пока не доходило до первых рядов». Д.: «И все-таки мы хотели бы узнать, почему вы не нашли его?» — «Было темно», — повторяет Перротти. «Может быть, он бежал во второй раз», — говорит молодой. «Во всяком случае, вы видели его после первого побега?» — «Точно, — говорит Перротти, — уж это-то совершенно точно». — «Что с ним сделали?» — «Ну, его избили... Филипп расскажет вам об этом лучше меня, они были товарищами». Я: «Как это вышло, что его не расстреляли?» — «У них не оставалось времени, американцы были совсем рядом». — «И потом, они не всегда расстреливали, по-всякому бывало», — говорит молодой. Я: «А о том, чтобы сбежать на вокзале, вы договорились с ним до его побега?» Молчание, они переглядываются.

«Понимаете, — говорит Д., — если вы говорили с ним после, это еще один обнадеживающий факт». Нет, они больше ничего не знают, этого они не могут вспомнить. Помнят отдельные моменты

продвижения колонны, помнят, как товарищи бросались в кювет, чтобы спрятаться, помнят американцев, которые появлялись то тут, то там. А что до остального — нет, они больше ничего не помнят.

Начинается новый этап пытки. Германия в огне. Он — в Германии. В этом нет полной уверенности, это еще под вопросом. Но можно сказать так: если его не расстреляли, если он остался в колонне, то он в горящей Германии.

Одиннадцать тридцать утра. Звонит телефон. Я одна, беру трубку. Это Франсуа Миттеран (подпольная кличка Морлан). «Филипп вернулся, он видел Робера неделю назад. Он чувствовал себя неплохо». Я объясняю: «Я видела Перротти, он говорит, Робер вроде бы бежал, но был схвачен. Что знает об этом Филипп?» Франсуа: «Это правда, он пытался бежать и был задержан детьми». Я: «Когда он видел его в последний раз?» Молчание. Франсуа: «Они вместе бежали. Филипп ушел довольно далеко, немцы его не заметили. Робер был на краю дороги, его избили. Филипп ждал, выстрела он не услышал.» Молчание.

«Это точно?» — «Точно». — «Не очень-то много. Больше он его не видел?» Молчание. «Нет, ведь Филиппа там уже не было, он сбежал». — «Когда это было?» — «Тринадцатого». Я знаю, что все эти подсчеты сделаны Франсуа Морланом, что он не мог ошибиться. «Что вы думаете?» — «Он должен вернуться, — говорит Франсуа, — никаких сомнений». Я: «Они расстреливали в колонне?» Молчание. «Как когда. Приходите в типографию». — "Нет, я устала.

Что думает Филипп?" Молчание. «Никаких сомнений, через сорок восемь часов он должен вернуться». Я: «Как Филипп?» — «Очень измучен, говорит, что Робер еще держался, был в лучшем состоянии, чем он сам». — «Он знает что-нибудь о том, куда направлялся эшелон?» — «Понятия не имеет». Я: «Вы не обманываете меня?» — «Нет. Приходите в типографию». — "Нет, не пойду.

Скажите, а если он не вернется через сорок восемь часов?" — «Что вы хотите чтобы я вам ответил?» — «Почему вы назвали эту цифру — сорок восемь часов?» — «Потому что, по словам Филиппа, их освободили где-то между четырнадцатым и двадцать пятым. Так что это единственно возможный ответ».

Перротти бежал двенадцатого, вернулся двадцать четвертого. Филипп бежал тринадцатого, вернулся двадцать четвертого. Будем считать, от десяти до двенадцати дней. Робер должен быть здесь завтра или послезавтра, может быть уже завтра.

Четверг, 26 апреля

Д. вызвал врача — температура не проходит. Мадам Кац, мать моей подруги Жанин Кац, временно поселилась у меня — в ожидании дочери, депортированной в Равенсбрюк вместе с Мари-Луизой, сестрой Робера. Звонил Риби, спрашивал Робера. Он был в той же колонне, он сбежал раньше Перротти и вернулся раньше.

Пятница, 27 апреля

Ничего. Ни днем, ни ночью. Д. принес мне «Комба». Последнее сообщение: русские взяли станцию метро в Берлине. Но пушки Жукова по-прежнему стоят вокруг Берлина через каждые восемьдесят метров и продолжают расстреливать его развалины. Штеттин и Брно взяты. Американцы на Дунае. Вся Германия в руках американцев. Не так-то просто оккупировать страну. Что они могут с ней сделать? Я стала как мадам Бордес, я больше не поднимаюсь с постели.

Мадам Кац ходит за покупками, готовит. У нее большое сердце. Она купила мне американское молоко. Если бы я была действительно больна, мадам Кац, наверно, меньше думала бы о своей дочери. Ее дочь инвалид, после костного туберкулеза одна нога у нее не сгибалась. Она еврейка. В Центре я узнала, что они убивали инвалидов. Насчет евреев уже многое стало известно. Мадам Кац ждала шесть месяцев, с апреля по ноябрь 19 45-го. Ее дочь умерла в марте 1945-го, официальное извещение о смерти прислали в ноябре 1945-го, понадобилось девять месяцев, чтобы отыскать в списках фамилию. Я не говорю с ней о Робере Л. Она повсюду разослала приметы своей дочери: в транзитные центры, на все границы, всем родственникам — ведь никогда не знаешь... Она купила пятьдесят банок американского молока, двадцать кило сахара, десять кило конфитюра, кальций, фосфат, спирт, одеколон, рис, картошку. Мадам Кац говорит: «Все ее белье выстирано, починено, выглажено. Я отдала обновить ее черное пальто — поменять подкладку, переставить карманы. Я все сложила в большой чемодан и пересыпала нафталином, я все проветрила, все готово. На ее туфлях сделаны новые набойки, чулки заштопаны. Думаю, я ничего не забыла».

Мадам Кац бросает вызов Богу.

Ничего. Черная дыра. Ни малейшего просвета. Я выстраиваю цепочку дней, но между тем моментом на дороге, когда Филипп не услышал выстрела, и вокзалом, где никто не видел Робера Л., пустота. Я встаю. Мадам Кац поехала к сыну. Я оделась и сижу у телефона. Приходит Д., он требует, чтобы я пошла с ним поехать в ресторан. В ресторане полно. Люди говорят о конце войны. Все говорят о немецких зверствах. Мне не хочется есть. Меня тошнит оттого, что едят другие. Я хочу умереть. Я отрезана, будто бритвой, от всего остального мира, даже от Д. Инфернальный подсчет: если сегодня вечером не будет вестей, он умер. Д. смотрит на меня. Может сколько угодно смотреть — он умер. Не стоит говорить ему, он не поверит. «Правда» пишет: «Пробил последний час Германии. Вокруг Берлина сжимается кольцо огня и железа». Это конец. Когда наступит мир, его здесь не будет. В Фаенце итальянские партизаны взяли в плен Муссолини. Вся Северная Италия в руках партизан. Но кроме того, что Муссолини схвачен, ничего не известно. Торез думает о будущем, он говорит, что придется поработать. Я сохранила для Робера Л. все газеты. Если он вернется, я поем вместе с ним. Но не раньше, нет. Я думаю о матери немецкого солдата, шестнадцатилетнего мальчика, который семнадцатого августа 1944 года одиноко умирал на набережной Искусств, лежа на груди камней, — она еще ждет сына. Теперь, когда де Голль у власти, когда он признан героем, в течение четырех лет спасавшим нашу честь, когда этот человек, столь скупой на похвалы народу, оказался на виду, в нем появилось что-то жестокое, отталкивающее. Он говорит: «Пока я на месте, в доме будет порядок». Де Голль ничего не ждет, кроме мира, только мы еще ждем. Извечное женское ожидание -как всегда, во все времена, во всех уголках земли женщины ждали возвращения мужчин с войны. Но мы живем в той части света, где мертвые громоздятся горами неопознанных костей. Это происходит в Европе. Это здесь сжигают евреев, миллионы евреев. Это здесь их оплакивают. Америка с удивлением смотрит, как дымят гигантские крематории Европы. Я невольно думаю о той старой, седой женщине, которая будет горестно ждать вестей от своего сына, так одиноко умиравшего в шестнадцать лет на набережной Искусств. И подобно тому как я видела этого мальчика, кто-то, возможно, видел моего мужчину -во рву, с зовущими в последний раз руками и уже невидящими глазами. Кто-то, о ком я никогда не узнаю и кто никогда не узнает, чем был для меня этот человек. Мы принадлежим Европе, это

происходит здесь, в Европе, здесь мы заключены все вместе перед лицом остального мира. Мы из расы тех, кого сжигали в крематориях и душили в газовых камерах Майданека, и мы же — из расы нацистов. Уравнивающая функция крематориев Бухенвальда, голода, общих могил Берген-Бельзена — все мы причастны к этим могилам, эти поразительно одинаковые скелеты принадлежат европейской семье народов. Не на Зондских островах, не в странах Тихого океана произошли эти события, а на нашей земле, земле Европы. Четыреста тысяч скелетов немецких коммунистов, погибших в Дора с 1933 по 1938 год, похоронены в той же европейской братской могиле, вместе с миллионами евреев, вместе с мыслью о Боге, мыслью о Боге, умиравшей с каждым евреем, с каждым. Американцы говорят: «Сегодня нет ни одного американца, будь то парикмахер из Чикаго или крестьянин из Кентукки, который не знал бы о том, что происходило в концентрационных лагерях Германии».

Американцы хотят продемонстрировать нам прекрасную работу своей военной машины, они намерены таким образом вразумить парикмахера и крестьянина, которые поначалу плохо понимали, почему и ради чего у них забрали сыновей и отправили воевать на европейский фронт. Когда они узнают о казни Муссолини, которого повесили на крюке в мясной лавке, они снова перестанут понимать, они будут шокированы.

Те, кто ждет мира, не представляют, что значит ждать. Все труднее объяснить отсутствие вестей. Мир уже виден. Он надвигается, как темная ночь.

Это будет началом забвения. Вот первые признаки: Париж теперь освещен по ночам. Площадь Сен-Жермен-де-Пре освещена будто прожекторами. Кафе «Де маго» переполнено. Еще слишком холодно, чтобы сидеть на террасах, но маленькие рестораны тоже переполнены. Я вышла на улицу, мир показался мне неотвратимым. Я поспешно вернулась домой, преследуемая миром. Я представила себе то будущее, которое может наступить, ту чужую страну, которая возникнет из этого хаоса и в которой никто уже не будет ждать. Мне нет здесь места, нигде, я не здесь, а там, с ним, в той недоступной другим, неведомой другим зоне, где все горит, где убивают. Я цепляюсь за соломинку, за последнюю из возможностей, которой не найдется места в газетах. Освещенный город имеет для меня лишь одно значение: это знак смерти, знак будущего без них. Только для нас, живущих ожиданием, сегодняшний день этого города не существует. Для нас это город, который они не увидят. Все вокруг нетерпеливо ждут мира.

Повсюду слышишь: отчего медлят, почему не подписывают мир? Сегодня стало известно, что Гитлер при смерти. Об этом сказал в своем последнем обращении по немецкому радио Гиммлер, который одновременно обратился к союзникам с предложением капитуляции Германии. Берлин, защищаемый лишь «тридцатью батальонами смертников», горит. Гитлер, говорят, находился в Берлине и выстрелил себе в голову из револьвера. По-видимому, он мертв, но это еще неточно.

Весь мир ждет. Гиммлер заявил в своем обращении, что «Гитлер при смерти и не переживет объявления безоговорочной капитуляции». Для него это будет смертельным ударом. США и Англия ответили, что примут капитуляцию лишь совместно с СССР. Гиммлер обратился с предложением капитуляции к Конференции союзных стран в Сан-Франциско. «Комба» сообщает, что предложение о капитуляции было будто бы адресовано и России. Сторонники Сталина не хотели отдать Муссолини союзникам. Он должен был принять смерть от руки народа, говорят газеты. Фариначчи был осужден народным трибуналом, его казнили на городской площади в присутствии большой толпы. В Сан-Франциско Европе приходится нелегко, она в меньшинстве. «Комба» пишет: «Глядя на великих, малые державы поднимают голову». Уже говорят о послевоенном мире.

Их очень много, мертвых действительно очень много. Было истреблено семь миллионов евреев; их перевозили в вагонах для скота, затем душили в газовых камерах, построенных с этой целью, затем сжигали в печах крематориев, построенных с этой целью. В Париже еще не говорят о евреях. Новорожденных поручали особому корпусу ЖЕНЩИН, ЗАНИМАВШИХСЯ УДУШЕНИЕМ ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ, -экспертов смерти, которые убивали, придавливая сонную артерию. Это не больно, с улыбкой говорят они. Это новое лицо организованной, рационализированной смерти, явленное Германией, в первую минуту ошеломляет и лишь потом возмущает. Мы удивляемся: как после этого еще можно быть немцем?

Мы ищем аналогии в других эпохах, в других странах. Нет, ничего похожего.

Некоторые так и не излечатся от потрясения. Одна из самых великих наций земной цивилизации, создавшая самую прекрасную в мире музыку, методично умертвила одиннадцать миллионов человеческих существ, сделав убийство образцовым государственным производством. Весь мир смотрит на чудовищную гору Смерти, которую создания Божии сотворили для своих ближних. Единственно возможный ответ на это преступление — признать его нашим общим преступлением. Разделить. Так же, как идею равенства и братства. Чтобы выдержать это преступление, вынести саму мысль о нем — разделить ответственность за него.

Я уже не знаю, какой это был день, было ли это еще в апреле? Нет, это случилось в мае, утром майского дня, в одиннадцать

часов раздался телефонный звонок. Звонили из Германии. Это был Франсуа Морлан. Он не здоровается, говорит почти грубо, но, как всегда, ясно. "Слушайте меня внимательно. Робер жив. Успокойтесь. Да. Он в Дахау. Соберитесь с силами и слушайте. Робер очень слаб, вы даже представить не можете, до чего он слаб. Я должен предупредить вас: это вопрос часов. Он может прожить еще три дня, не больше.

Д. и Бошан должны выехать сегодня, сегодня же утром, в Дахау. Скажите им, чтобы они немедленно пошли в мой кабинет и взяли там — они в курсе — французские офицерские формы, паспорта, командировочные удостоверения, талоны на бензин, штабные карты и пропуска. Пусть идут сразу же. Другого выхода нет. Если действовать официальным путем, они приедут слишком поздно".

Франсуа Морлан и Роден входили в состав миссии, организованной отцом Рике, они поехали в Дахау и там обнаружили Робера Л. Они проникли в запретную зону лагеря, где держали умерших и безнадежно больных. И вот тут один из этих живых мертвецов отчетливо произнес: «Франсуа». «Франсуа», — и потом опять закрыл глаза. Прошло не меньше часа, прежде чем они узнали Робера Л. В конце концов Роден узнал его по зубам. Они завернули его в простыню, как это делают с мертвецами, и вынесли из запретной зоны. Потом положили около барака в той части лагеря, где находились выжившие. Им удалось это сделать, потому что в лагере не было американских солдат, те не выходили из караульного помещения, напуганные холерой.

Бошан и Д. выехали из Парижа в тот же день, вскоре после полудня. Это было 12 мая, в день подписания мира. Бошан был в полковничьей форме Франсуа Морлана. Д. — в форме французского лейтенанта, с собственными документами участника Сопротивления (на имя Д. Масса). Они ехали всю ночь и прибыли в Дахау утром следующего дня. Они искали Робера Л. несколько часов, потом, проходя мимо какого-то тела, услышали отчетливо произнесенное имя Д. Я думаю, они не узнали его, но Морлан предупредил, что он неузнаваем. Они подняли его. И, должно быть, после этого узнали. У них была еще одна французская офицерская форма, которую они спрятали под одеждой. Надо было поставить его на ноги, сам он не мог встать, но все же они сумели его переодеть. Надо было помешать ему отдавать честь перед эсэсовскими бараками, провести через караульное помещение и уберечь от прививок, которые убили бы его. Американские солдаты, в основном чернокожие, были в противогазах — от тифа. Они смертельно боялись заразиться.

Если бы они догадались об истинном состоянии Робера Л., то немедленно, согласно приказу, отправили бы его обратно, в отделение смертников. После того как Робера Л. вывели из лагеря, ему пришлось еще дойти до машины. Робер Л. потерял сознание сразу же, как опустился на заднее сиденье. Они подумали, что это конец, но ошиблись.

Путешествие было очень трудным, очень долгим. Каждые полчаса приходилось останавливаться, так как у него была дизентерия. Когда они отъехали от Дахау, Робер Л. заговорил. Он сказал, что знает — ему не добраться живым до Парижа. И он стал говорить, чтобы высказаться перед смертью. Робер Л. никого не обвинял, ни одну расу, ни один народ, он обвинял человека. Выйдя из ада, умирающий, в бреду, Робер Л. сохранил способность никого не обвинять, никого, кроме правительств, которые уйдут, не оставив следа в истории народов. Он хотел, чтобы Д. и Бошан передали мне после его смерти то, что он сказал. В тот же вечер они добрались до французской границы, это было у Виссембурга. Д. позвонил мне: "Мы во Франции. Только что пересекли границу.

Будем в Париже завтра, в начале дня. Приготовьтесь к худшему: вы не узнаете его". Они обедали в офицерской столовой. Робер все говорил и говорил. Когда он вошел в столовую, все офицеры встали, приветствуя его. Робер Л. ничего не заметил. Он никогда не замечал таких вещей. Он говорил о страданиях немцев, о том страдании, которое является общечеловеческим уделом. Он рассказывал. В тот вечер он сказал, что хотел бы перед смертью поесть форели. В опустошенном Виссембурге для Робера Л. раздобыли форель. Он съел несколько кусочков. Потом опять начал говорить. Он говорил о милосердии. Он слышал кое-какие суждения преподобного отца Рике и произнес загадочную фразу:

"Когда мне будут говорить о христианском милосердии, я скажу «Дахау». Этой ночью они спали в Бар-сюр-Об. Робер Л. поспал несколько часов. Перед тем как свернуть на улицу Сен-Бенуа, Д. остановил машину, чтобы еще раз позвонить мне. «Я звоню вам, чтобы предупредить: ничего ужаснее просто невозможно вообразить. Он счастлив».

Я услышала приглушенные восклицания, возню и топот на лестнице. Потом хлопанье дверей и крики. Так и есть: они. Они вернулись из Германии.

Я не смогла избежать встречи с ним. Я спускалась, чтобы удрать на улицу. Бошан и Д. поддерживали его под мышки. Они остановились на площадке первого этажа. Робер Л. поднял глаза.

Дальше я плохо помню. Он, должно быть, посмотрел на меня

и узнал и улыбнулся. Я заорала «нет», я орала, что не хочу его видеть. Я повернулась и побежала вверх по лестнице. Я вопила, это я помню. Война выходила из меня этими воплями. Шесть лет безмолвия. Я пришла в себя у соседей. Они заставляли меня выпить ром, лили прямо в рот. Заливали крики.

Я не помню, как и когда оказалась перед ним, перед Робером Л. Помню, что по всему дому слышались рыдания, что жильцы долго оставались на лестнице, что двери были открыты. Потом мне сказали, что консьержка украсила в честь его возвращения подъезд, но как только он прошел, в ярости сорвала все и заперлась у себя в комнате, чтобы выплакаться.

Я запомнила, что в какой-то момент все звуки угасли и я увидела его.

Он передо мной. Огромный. Я не узнаю его. Он смотрит на меня. Он улыбается.

Дает на себя посмотреть. В его улыбке проглядывает сверхъестественная усталость, усталость от усилий, которые понадобились, чтобы дожить до этой минуты. По этой улыбке я вдруг узнаю его, но будто издалека, как если бы видела в конце туннеля. Улыбка у него смущенная. Он извиняется, что дошел до такого жалкого состояния, стал тенью человека. А потом улыбка исчезает. И он опять становится незнакомцем. Но я уже знаю, что этот незнакомец — Робер Л., что он не изменился.

Он захотел осмотреть квартиру. Мы поддерживали его, и он обошел комнаты. Он морщил щеки, но кожа словно прилипла к челюстям, и только по его глазам мы поняли, что он улыбается. Когда он вошел на кухню, он увидел фруктовый пирог, который я испекла для него. Он перестал улыбаться: «Что это?» Ему сказали. С чем пирог? С вишнями, сейчас самый сезон. «Можно мне его есть?» — «Мы не знаем, надо спросить у врача». Он вернулся в гостиную, лег на диван. «Значит, мне нельзя его есть?» — «Пока еще нельзя». — «Почему?» — «Потому что в Париже уже были несчастные случаи с депортированными, которых слишком рано стали нормально кормить».

Он перестал расспрашивать о том, что произошло за его отсутствие. Он перестал нас замечать. Его лицо исказила мучительная безмолвная боль, потому что ему опять отказывают в еде, как в концлагере, потому что все продолжается. И как в лагере, он молча смирился. Он не видел, что мы плакали. Он не замечал и того, что мы едва решались взглянуть на него, отвечать ему.

Пришел врач. Он остановился на пороге, сжав пальцами дверную ручку, очень бледный. Он посмотрел на нас, потом на тело, распростертое на диване.

Он не понимал. Но потом до него дошло: тело еще живет, оно висит между жизнью и смертью, и его, врача, позвали для того, чтобы он попытался продлить эту жизнь. Врач вошел в комнату. Приблизился к существу, лежавшему на диване, и существо улыбнулось ему. В течение трех недель этот врач будет приходить по нескольку раз в день, в любое время дня и ночи. Когда нам становилось слишком страшно, мы вызывали его, и он приходил. Он спас Робера Л. Он был одержим желанием спасти Робера Л. от смерти. Ему это удалось.

Мы унесли пирог из дому, когда Робер Л. заснул. На следующий день у него поднялась температура, и ни о какой еде он больше не говорил.

Если бы он стал есть сразу по возвращении из лагеря, его желудок мог бы разорваться, или же пища могла придавить своей тяжестью сердце, ставшее огромным в пустоте его худобы. Сердце билось так быстро, что нельзя было сосчитать пульс; собственно говоря, нельзя было даже сказать, что оно бьется, скорее оно трепетало, словно от испуга. Да, он мог умереть от еды.

Но без еды он тоже умрет. Вот в чем была проблема.

Очень скоро началась борьба со смертью. Надо было действовать потихоньку, деликатно, тактично, осторожно. Смерть обложила его со всех сторон. Тем не менее оставались еще бреши, позволявшие пробиться к нему, поддерживать с ним связь, их было немного, этих возможностей, однако жизнь еще теплилась в нем, всего лишь искра жизни, а все-таки она была, эта искра. Смерть шла на приступ. 39,5 в первый день. Потом 40. Потом 41. Смерть задыхается, она устала. По-прежнему 41: сердце вибрирует как натянутая струна, но вибрирует. Сердце, думаем мы, сердце остановится. По-прежнему 41. Смерть ярится, бьет наотмашь, но сердце не замечает. Это невозможно, сердце должно остановиться. Нет.

Только кашу, сказал врач, чайными ложками. Шесть или семь раз в день мы давали ему кашу. Эта ложка каши вставала ему поперек горла, он хватался за наши руки, ловил ртом воздух и падал на кровать. Но глотал. И так же шесть или семь раз в день он просился на горшок. Мы поднимали его, подхватив под колени и под мышки. Он весил, наверно, тридцать семь или тридцать восемь килограмм — включая кости, кожу, печень, кишечник, мозг, легкие; тридцать восемь килограмм на все про все при росте метр семьдесят восемь. Мы сажали его на гигиеническое ведро, на край которого клали маленькую подушку: сзади на ляжках у него образовались открытые раны, через которые были видны суставы. (У семнадцатилетней еврейской девушки из предместья Тамплъ кожа на локтях прорывалась вылезшими наружу

суставами; о, конечно же, это по причине ее молодости и слишком нежной кожи они торчат наружу, вместо того чтобы находиться под кожей; она вышла из лагеря голая, чистая, у нее ничего не болит — ни суставы, ни живот, из которого вырезали один за другим, с равномерными промежутками, все ее детородные органы.) Усевшись на ведро, он разом, с каким-то немыслимым, неожиданно громким бульканьем опорожнялся.

Если его сердце держалось, то анус не мог ничего удержать, он выпускал содержимое кишечника. Все или почти все тело теряло свое содержимое, даже пальцы не могли удержать ногтей, которые тоже выпадали. Но сердце продолжало держаться. Сердце. И голова. Только она вышла из этой зоны смерти хоть и в смятении, но сохранив великолепную ясность разума. Она помнила, рассказывала, узнавала, требовала. И говорила, говорила. Голова держалась на теле с помощью шеи, как и все головы, но эта шея была такая худая — ее можно было обхватить пальцами одной руки, — такая высохшая, что мы спрашивали себя, каким образом жизнь пробивается через нее: чайная ложка каши и то проходила с трудом, застревала в ней. У основания шея составляла прямой угол с плечом. Наверху шея вдавалась в черепную коробку, примыкала к челюстям, обнимала, подобно лиане, связки. Кожа была как папиросная бумага, и мы видели сквозь нее позвонки, сонную артерию, нервы, глотку и как течет по сосудам кровь. Итак, он опорожнялся, выбрасывая из себя это клейкое булькающее темно-зеленое дерьмо, какого никто еще никогда не видывал. После этого мы опять укладывали его, он был совершенно обессилен и долго лежал полузакрыв глаза.

На протяжении семнадцати дней вид этого дерьма не менялся. Оно было нечеловеческим и отделяло его от нас больше, чем его жар, удобо, пальцы без ногтей, следы эсэсовских побоев. Мы давали ему золотисто-желтую кашу, кашу для младенцев, и она выходила из него темно-зеленой, как болотная тина.

Закрыв ведро, мы слышали, как лопаются на поверхности этой жижи пузырьки.

Клейкая, слизистая, она походила скорее на мокроту. Она не пахла гниением, трупным разложением, хотя он был еще полутрупом. Комната наполнялась запахом, напоминавшим запах растительного перегноя, прелых листьев, глухой лесной чащи. Запах был и впрямь густой и мрачный, словно отражение того кромешного мрака, из которого он вынырнул и который нам не дано узнать. (Я стояла прижавшись к жалюзи, перед моими глазами — улица, прохожие, не подозревавшие о том, что происходило в комнате, и мне хотелось сказать им, что в этой комнате над ними находится человек, вернувшийся живым из

немецких лагерей.) Конечно, он рылся на помойках в поисках еды, ел траву, пил грязную воду, но это ничего не объясняло. Глядя на никому не известное вещество, мы искали объяснений. Мы говорили себе: может быть, он у нас на глазах съедает свою печень, свою селезенку? Как знать? Как знать, сколько еще неведомых болезней и боли таится у него в животе?

На протяжении семнадцати дней вид дерьма не менялся. Семнадцать дней оно оставалось ни на что не похожим. Каждый день все те семь раз, что он испражнялся, мы в недоумении нюхали и рассматривали эту непонятную субстанцию. Семнадцать дней мы скрывали от него то, что из него выходило, и так же прятали от него его собственные ноги, ступни, его неправдоподобное тело.

Мы так и не привыкли смотреть на все это. Невозможно было привыкнуть.

Казалось невероятным, что он еще живет. Когда люди входили в комнату и видели это тело под простыней, они, не выдержав, отводили глаза. Многие уходили и больше не возвращались. Он так и не заметил нашего ужаса. Ни разу.

Он был счастлив, он больше не испытывал страха. Температура возбуждала его.

Семнадцать дней.

В один прекрасный день температура падает.

В конце концов смерть устает. Она уже не клокочет в ведре, она становится жидкой и обретает более нормальный запах, хоть и остается зеленой, у нее человеческий запах. И однажды температура падает. Ему ввели двенадцать литров сыворотки, и в одно прекрасное утро температура падает. Он лежит на девяти подушках, одна для головы, две для предплечий, две для рук, две для кистей, две для ног; его тело не выдерживало собственного веса, надо было погрузить этот вес в пух и зафиксировать.

И однажды утром жар проходит. Температура возвращается, но затем падает. Опять возвращается, уже не такая высокая, и снова падает. И вот однажды утром он говорит: «Я голоден».

Голод исчез, когда поднялась температура. Он вернулся, когда температура упала. В какой-то день врач сказал: «Попробуем, попробуем дать ему поесть, начнем с мясного сока, если он его перенесет, продолжайте давать. Но одновременно давайте и все остальное, сперва маленькими порциями и постепенно увеличивайте, через каждые три дня — чуть больше». Утром я обхожу все рестораны Сен-Жермен-де-Пре в поисках мясовжималки. Я нахожу одну в большом ресторане на бульваре Сен-Жермен. Они не могут мне одолжить ее. Я говорю, что это для депортированного, политзаключенного, что он очень плох,

что это вопрос жизни и смерти. Дама раздумывает, потом говорит: «Я не могу вам ее одолжить, но могу дать напрокат, по тысяче франков в день (sic!)». Я оставляю свой адрес, фамилию и залог. Мясо мне продают по себестоимости в ресторане «Сен-Бенуа».

Он прекрасно переваривал мясной сок. Так что через три дня мы начали давать ему твердую пищу.

Чем больше он ел, тем больше хотел есть. Его голод был неутолим и увеличивался с каждым днем.

Он принял устрашающие размеры.

Мы не прислуживали ему за столом. Мы ставили перед ним тарелки и оставляли его, и он ел. Он функционировал. Он делал то, что надо было делать, чтобы жить. Он ел. Это занятие поглощало его целиком. Он ждал еды часами. Он глотал все подряд, не замечая, что ест. Потом мы уносили пищу, и он ждал, когда она вернется.

Он исчез, вместо него остался голод. То есть пустота. Он кормит эту пропасть, он заполняет то, что было опустошено, — свое иссохшее нутро. Вот что он делает. Он подчиняется, он служит, он выполняет некую загадочную функцию. Откуда ему известно, что именно надо делать? Он знает это тем непостижимым знанием, которому нет равных.

Он ест баранью котлету. Потом обсасывает кость, опустив глаза, весь сосредоточившись на том, чтобы не оставить ни малейшего кусочка мяса. Потом принимается за вторую баранью котлету. Потом за третью. Не поднимая глаз.

Он сидит в полутьме гостиной у приоткрытого окна в кресле, обложенный подушками, с прислоненной рядом тростью. Брюки болтаются на его ногах, как на палках. Когда светит солнце, его руки кажутся совсем прозрачными.

Вчера он с величайшими усилиями подбирал хлебные крошки, упавшие с его брюк на пол. Сегодня он уже оставил кое-какие крошки.

Когда он ест, мы покидаем его одного в комнате. Он больше не нуждается в нашей помощи. У него уже хватает сил, чтобы держать ложку и вилку. Но мясо мы нарезаем. Мы оставляем его наедине с едой. Мы стараемся не разговаривать в соседних комнатах. Мы ходим на цыпочках. Мы издали смотрим на него. Он функционирует. Он не отдает предпочтения каким-то блюдам. Никаких предпочтений. Он поглощает все — как бездна. Когда еда поступает недостаточно быстро, он всхлипывает и говорит, что его не понимают.

Вчера днем он пошел к холодильнику и стащил хлеб. Он ворует. Мы говорим ему, что нужна осторожность, что ему нельзя

слишком много есть. Тогда он плачет.

Я наблюдала за ним из дверей гостиной. Я не входила. Пятнадцать, двадцать дней я с неизменной радостью смотрела, как он ест, я не могла к этому привыкнуть. Иногда от радости я тоже плакала. Он не замечал меня. Он меня забыл.

Силы возвращаются.

Я тоже начинаю есть, начинаю снова спать. Я набираю вес. Мы будем жить.

Как он, в течение семнадцати дней я не могла есть. Как он, семнадцать дней не могла спать, во всяком случае, мне кажется, что я не спала. На самом деле я сплю два-три часа в сутки. Я засыпаю где придется. Просыпаюсь в страхе, это ужасно, каждый раз я думаю, что он умер, пока я спала. По ночам меня по-прежнему лихорадит. Врач, который приходит к нему, обеспокоен моим состоянием. Он прописывает мне уколы. Игла ломается у меня в бедре, мои мышцы словно окаменели. Сестра отказывается делать уколы. Нехватка солнца провоцирует расстройство зрения. Я держусь за мебель при ходьбе, пол уходит у меня из-под ног, я боюсь упасть. Мы едим выжимки мяса, из которого делали для него сок. Они как вата, как бумага. Я больше не готовлю, только кофе. Я чувствую, что смерть, о которой я так мечтала, подошла ко мне вплотную. Это мне безразлично, и даже о том, что мне это безразлично, я больше не думаю.

Моя личность переместилась в него. Я только и могу, что бояться за него при пробуждении. Я только и могу, что хотеть вместо него, за него. Вся моя личность — в этом желании, и это желание, даже когда Робер Л. совсем плох, остается несказанно сильным, потому что Робер Л. еще живет. Когда я потеряла своего младшего брата и своего ребенка, я потеряла вместе с ними чувство боли, она, так сказать, лишилась объекта и осталась в прошлом. Но теперь, когда возродилась надежда, боль укоренилась в надежде. Иногда я удивляюсь, что не умираю: ледяное лезвие день и ночь пронзает живую плоть, а я живу.

Силы возвращаются.

Нам сообщили о Мари-Луиз по телефону. В течение месяца мы скрывали от него новость. Только во время его пребывания в оздоровительном центре для депортированных в Верьер-ле-Бюиссон, когда он окреп, мы сказали ему о смерти его сестры Мари-Луиз Л. Это было ночью. Кроме меня, в комнате была самая младшая из его сестер. Мы сказали: «Мы должны сказать тебе то, что скрывали от тебя». Он сказал: «Вы скрывали от меня смерть Мари-Луиз». Мы сидели вместе до утра, мы не говорили о ней, мы ни о чем не говорили. Меня вырвало. Кажется, нас всех рвало. Он сидел на кровати, положив руки на трость, и повторял: «Двадцать

четыре года». Он не плакал.

Он все больше набирался сил. В какой-то день я сказала ему, что нам придется развестись, что я хочу ребенка от Д. и надо, чтоб ребенок носил имя отца. Он спросил, не считаю ли я возможным, что когда-нибудь позже мы опять будем вместе. Я сказала, что нет, что решила это еще два года назад, когда встретила Д., и не изменю своего решения. Я сказала, что даже если бы не было Д., я все равно не вернулась бы к нему. Он не спросил меня, почему я уйду от него, я не объяснила причин.

Мы живем в доме отдыха для депортированных в Савойе на берегу озера Анси в придорожном отеле-ресторане. Август 1945-го. Хиросима. Это там мы узнаем о Хиросиме. Он прибавил в весе, потолстел. У него нет сил таскать свой прежний вес. Он ходит с палкой, я и теперь вижу эту массивную палку из темного дерева. Иногда кажется, что он вот-вот начнет крушить этой палкой мебель, стены, двери, все, что попадется под руку, но только не людей, нет.

Д. тоже здесь, на озере Анси. У нас нет денег, чтобы поселиться в отеле, где пришлось бы платить.

Я не помню его рядом с нами во время нашего пребывания в Савойе. Он окружен посторонними, он еще одинок, не говорит, о чем думает. Он замкнут и мрачен. Однажды утром, на краю дороги — огромный заголовок в газете:

Хиросима.

Похоже, что он хочет все кругом разбить, что он ослеплен гневом, через который ему надо пройти, чтобы быть в состоянии снова жить. Кажется, он заговорил с Д. после Хиросимы, Д. — его лучший друг. Хиросима, наверно, первое внешнее событие, которое он заметил, которое различил за пределами собственной жизни.

Другое воспоминание: он на террасе кафе «Флора», это еще до Савойи.

Много солнца. Он захотел пойти во «Флору» — «посмотреть», как он сказал.

Официанты подходят поздороваться с ним. В этот момент — эта картина и сейчас у меня перед глазами — он начинает кричать, колотить палкой об пол.

Я боюсь, что он станет бить стекла. Официанты смотрят на него, потрясенные, чуть не плача, не говоря ни слова. Потом он снова садится и долго молчит.

Прошло еще некоторое время.

Это было в первое мирное лето, в 1946-м.

Это было на пляже в Италии, между Ливорно и Ла-Специа.

Год и четыре месяца прошло с тех пор, как он вернулся из

лагеря. Он уже много месяцев знает о сестре, знает о предстоящем разводе.

Он здесь, на пляже, смотрит на идущих мимо незнакомых людей. В картинах его смерти, преследовавших меня в Париже, когда я ждала его возвращения из Германии, первыми умирали его глаза и то, как он смотрит, как щурится, чтобы лучше видеть. Иногда он надолго замолкает, вперив взгляд в землю. Он не может смириться со смертью своей сестры: двадцати четырех лет, слепая, с обмороженными ногами, в последней стадии туберкулеза, она была вывезена самолетом из Равенсбрюка в Копенгаген и умерла в день прибытия, это был день перемирия. Он никогда не говорит о ней, никогда не произносит ее имени.

Он написал книгу, в которой попытался рассказать о том, что пережил в Германии, он назвал ее «Род человеческий». После того как он написал ее, отредактировал, опубликовал, он больше не говорил о немецких концентрационных лагерях. Он никогда не произносит этих слов. Никогда. И никогда не упоминает о своей книге.

В тот день дул либеччо.

Под этим ветром, под этим солнцем мысль о его смерти исчезает.

Я лежу рядом с Джинеттой. Мы вскарабкались по склону пляжа и забрались поглубже в камыши. Мы разделись. Мы вышли из моря, освеженные купаньем, солнце обжигает, но не может одолеть эту свежесть. Кожа хорошо защищает. Я вижу, как у меня под кожей, во впадинке меж ребер бьется мое сердце. Я хочу есть.

Остальные на пляже. Они играют в мяч. Все, кроме Робера Л. Он пока не играет.

Над камышами видны белоснежные склоны мраморных карьеров Каррары. Над ними высятся горы ослепительной белизны. С другой стороны, поближе, как раз над устьем Ла Магры виднеется Монте Марчелло. Селения не видно, только холм, заросший фиговыми деревьями, и на самой вершине — темные бока пиний.

Мы слышим, как они смеются. Особенно Элио. Джинетта говорит:

«Послушай-ка его, он совсем как ребенок».

Робер Л. не смеется. Он лежит под зонтом. Он пока еще не переносит солнца. Он смотрит, как они играют.

Ветер не может пробиться сквозь камыши, но он доносит до нас звуки с пляжа. Ужасно жарко.

Джинетта достает из своей купальной шапочки две половинки лимона, одну протягивает мне. Мы выжимаем их прямо в наши открытые рты. Лимонный сок течет капля за каплей

в горло и добирается туда, где притаился наш голод, и мы с особой остротой ощущаем, как сильно проголодались. Джинетта говорит, что лимон — это как раз то, что надо в такую жару. Она говорит: «Посмотри, какие огромные лимоны в Каррарской долине, у них толстая кожа, которая защищает их от солнца, они такие же сочные, как апельсины, только сок более терпкий».

По-прежнему слышно, как играют в мяч. Робера Л. по-прежнему не слышно. В его молчании еще сказывается присутствие войны, она просачивается сквозь песок и ветер.

Джинетта говорит: «Как жаль, что я не была с тобой знакома, когда ты ждала возвращения Робера». Она находит, что он в хорошем состоянии, но у нее сложилось впечатление, что он быстро устает, это особенно заметно по той болезненной медлительности, с какой он ходит и плавает. Но она не уверена в этом, поскольку не знала его прежде. Однако она опасается, что он уже не сможет полностью восстановить свои силы, стать таким, каким был до лагерей.

Как только она произносит это имя, Робер Л., я начинаю плакать. Я и теперь плачу. Я всю свою жизнь буду плакать. Джинетта извиняется и замолкает.

Каждый день она думает, что я смогу говорить о нем, а я все еще не могу. Но в тот день я сказала ей, что думаю, что когда-нибудь все же смогу.

И что я уже написала немного о его возвращении. Что попыталась кое-что сказать о своей любви. Что именно тогда, во время его агонии, я лучше узнала этого человека, Робера Л., и навсегда поняла, что делало его таким, какой он есть, и каким мог быть лишь он один и никто другой. Что я говорила там об особой благодати, которой отмечен Робер Л. и которая вела его неисповедимыми путями через лагерь, через интеллектуальные поиски, любовь, книги, политику.

О той особой благодати, присущей ему одному, но вобравшей в себя бремя отчаянья всех и каждого.

Жара стала невыносимой. Мы надели купальники и побежали к морю.

Джинетта уплыла далеко. Я осталась на берегу.

Либеччо утих. А может, это было в другой, безветренный день.

Или, может, это было в другом году, другим летом. В другой безветренный день.

Море было синее, даже вблизи, и без волн — только зыбь, легкая, как дыхание в глубоком сне. Наши друзья бросили игру и усьелись на полотенца, расстеленные на песке. Он встал и направился к морю. Я подошла ближе, к самой кромке. Я

смотрела на него. Он заметил, что я смотрела на него. Он щурил под очками глаза и улыбался мне, он слегка, как бы насмешливо качал головой. Я знала, что он знал, — знал, что каждый час каждого дня я буду думать: «Он не умер в концлагере».